

КОРА АНТАРОВА



Две жизни
*Все части
Сборник в обновленной
редакции*

Классика мысли

Конкордия Антарова

**Две жизни. Все части. Сборник
в обновленной редакции**

«Издательство АСТ»

1959

УДК 821.161.1-312.2
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Антарова К. Е.

Две жизни. Все части. Сборник в обновленной редакции /
К. Е. Антарова — «Издательство АСТ», 1959 — (Классика
мысли)

Книга «Две жизни» — мистический роман, который популярен у людей, интересующихся идеями Теософии и Учением Живой Этики. Этот текст был написан известной оперной певицей, ученицей К.С. Станиславского, солисткой Большого театра Конкордией Евгеньевной Антаровой (1886–1959). Как вспоминала сама Кора Антарова, книга писалась под диктовку во время Второй мировой войны и являлась знанием, переданным через общение с действительным Автором посредством яснослышания — способом, которым записали свои книги «Живой Этики» Е.И. Рерих и Н.К. Рерих, «Тайную доктрину» Е.П. Блаватская. Главные герои «Двух жизней» — великие души, которые завершили свою эволюцию на Земле, но остались, чтобы помогать другим людям в их духовном восхождении. Именно поэтому ощутимо единство Источника всех вышеупомянутых книг: учение, изложенное в «Живой Этике», как бы проиллюстрировано судьбами героев книги «Две жизни». Это — Источник Единой Истины, из которого вышли Учения Гаутамы Будды, Иисуса Христа и других Великих Учителей. Впервые в книге, предназначенной для широкого круга читателей, даются яркие и глубокие Образы Великих Учителей, выписанные с огромной любовью, показан Их самоотверженный труд по раскрытию Духа человека. Теперь каждый из нас может приобщиться к Великой Истине, открыть для себя все новые и новые знания, которые на самом деле находятся всегда внутри нас... Роман «Две жизни» не теряет своего живительного воздействия до сих пор, погружая нас в удивительный мир духовной мудрости и психологических закономерностей развития человека. Наконец одно из самых эпохальных мистических сочинений XX века представлено и в виде сборника, чтобы читателю было удобнее ознакомиться с ним от начала до конца. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-312.2
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Антарова К. Е., 1959
© Издательство АСТ, 1959

Содержание

Об авторе	7
Часть I	8
Том 1	8
Глава I	8
Глава II	16
Глава III	27
Глава IV	36
Глава V	43
Глава VI	49
Глава VII	58
Глава VIII	74
Глава IX	77
Глава X	88
Глава XI	95
Глава XII	102
Глава XIII	110
Глава XIV	119
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Кора Антарова
Две жизни. Все части. Сборник
в обновленной редакции



© Антарова К. Е., текст
© ООО «Издательство АСТ»

Об авторе

«Две жизни» – оккультный роман, который впервые вышел в свет спустя почти 35 лет после смерти автора. Этот уникальный текст принадлежит перу К. Е. Антаровой, одной из тех самоотверженных русских женщин, чья жизнь была служением искусству и знанию.

Кора (Конкордия) Евгеньевна Антарова родилась 13 апреля 1886 года, когда только занимался Серебряный век русской культуры, когда разительно менялось общество и философия. Природа щедро наделила юную девушку талантами – ее прекрасное контральто поражало и притягивало к себе слушателей. Кора Антарова пела в церковном хоре, с 1901 года училась на Бестужевских высших женских курсах, параллельно посещая Петербургскую консерваторию, где брала уроки у И. П. Прянишникова. В 1907 года она успешно проходит прослушивание и становится солисткой Мариинского театра, а уже с 1908 года ее принимают в труппу Большого театра. Именно в этой колыбели музыки Кора Антарова проработала почти 30 лет.

Огромную роль в жизни юной певицы сыграла встреча с К. С. Станиславским, который в течение нескольких лет преподавал актерское мастерство в музыкальной студии Большого театра. Только Кора Антарова кропотливо вело стенографическую запись всех занятий гениального режиссера, которые потом опубликовала в отдельной книге «Беседы К. С. Станиславского в Студии Большого театра в 1918–1922 гг.». Впервые книга увидела свет в 1939 г. и выдержала несколько изданий, став настольной не для одного поколения актеров и режиссеров.

Свою книгу «Две жизни» Кора Антарова писала во время Второй Мировой войны посредством яснослышания – общения с настоящим Автором текста, Источником Единой Истины. Жизнеописание основных героев романа построено так, что вполне дает читателю возможность догадаться о скрытых за ними реальных прообразах. Сопоставление их биографий с судьбами героев книги позволяет прочувствовать действие закона кармы, значение настоящих и будущих духовных накоплений, которые определяют приверженность каждого человека Высшим идеалам. Книга хорошо показывает, как таинство раскрытия духовных сил человека может происходить среди естественных жизненных испытаний, подтверждая тем самым героиню ежедневного труда ученика, самоотверженно познающего Единую Истину.

Книга «Две жизни» не была издана при жизни Кору Евгеньевны и увидела свет только в 1993 году. После смерти Антаровой рукопись долгое время хранилась у ее духовной ученицы Елены Федоровны Тер-Арутюновой. Елена Федоровна никогда не теряла надежды на опубликование рукописи и активно знакомила с текстом тех, в ком чувствовался в ней интерес. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что этой книгой даже до публикации зачитывалось не одно поколение читателей.

Часть I

Том 1

Глава I У моего брата

События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далекой юности.

Уже больше двух десятков лет зовут меня «дедушкой», но я совсем не ощущаю себя старым; мой внешний облик, заставляющий уступать мне место, поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что я конфужусь всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде.

Было мне лет двадцать, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город погостить к брату, капитану М-ского полка. Жара, ясное синее небо, дотоле мною невиданное; широкие улицы с тенистыми аллеями из высочайших развесистых деревьев посередине поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар. Пройдет группа женщин, укутанных в черные сетки и белые или темные покрывала, подобно плащу скрывающие формы тела.

Улица, на которой жил брат, была не из главных; от базара далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом; жил в нем один со своим денщиком и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в мое распоряжение.

Окна одной из комнат брата выходили на улицу; туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбывал себе как спальню и которая носила громкое название «зала».

Брат мой был человеком очень образованным. Стены комнат снизу доверху были заставлены полками и шкафами с книгами. Библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радостей в новой для меня, уединенной жизни.

Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям; временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрестках; в толпе снующей, говорливой, пестро одетой в разноцветные халаты я словно бы оказался в Багдаде и все воображал, что где-то совсем рядом проходит Аладдин с волшебной своей лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун-аль-Рашид. И восточные люди, с их величавым спокойствием, или же, наоборот, повышенной экзальтированностью, казались мне загадочными и манящими.

Однажды, бродя рассеянно от лавки к лавке, я вздрогнул, как от удара электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно черные глаза очень высокого, средних лет человека, с густой короткой черной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и его синие, почти фиолетовые глаза также пристально разглядывали меня.

Высокий брюнет и юноша, оба были в белых чалмах и пестрых шелковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего; многие из прохожих подобострастно им кланялись.

Оба они уже давно двинулись к выходу, а я все стоял, как замороженный, не в силах победить впечатление от этих чудесных глаз.

Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролетке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны. Оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую поднимали три осла, закрыла все, я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах.

«Кто бы это мог быть? – думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошел мимо лавки и, наконец, решился спросить хозяина:

– Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?

– Люди? Люди много ходила сегодня мой лавка, – хитро улыбаясь, сказал он. – Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий черный люди?

– Да, да, – поспешил я согласиться. – Я видел высокого брюнета и с ним красавца юношу: кто они такие?

– Они наша большой, богатый помещики. Виноградники, – ой-я, – виноградник! Ба-а-льшой торговля ведет с Англия.

– Но как же его зовут? – продолжал я.

– Ой-я, – засмеялся хозяин. – Вся горишь, знакомиться хочешь? Он – Мохаммед Али. А молодой – Махмуд Али.

– Вот как, оба Магометы?

– Нет, нет, Мохаммед только дядя, а племянник – Махмуд.

– Они здесь живут? – продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и соображая, что бы такое купить, чтоб только выиграть время и вывести еще что-нибудь о поразивших меня незнакомцах.

– Что смотришь? Халат хочешь? – подметив мой парящий взгляд, спросил хозяин.

– Да, да, – обрадовался я предлогу. – Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату.

– А кто твой брат? Какой ему вкус?

Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чем другом, как в ките-ле или пижаме, пока еще не видел его.

– Мой брат – капитан Т., – сказал я.

– Капитан Т.? – вскричал с восточным азартом купец. – Я его хорошо знаю. Ему уже есть семь халатов. На что ему еще?

Я был смущен, но, скрыв свое замешательство, храбро сказал:

– Он их все раздарил.

– Вот как! Наверное, друзьям в Петербурге посылал. Ха-а-роший халаты покупал! Вот, смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать. Ой-я, халат! – И купец достал из-под прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами.

– Такой мне не подойдет, – сказал я.

Купец весело рассмеялся:

– Конечно, не подойдет; это женская халат. Я тебе дам вот – синий. – И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат.

Халат был несколько пестроват; но тон его, теплый и мягкий, мог понравиться брату.

– Не бойся, бери. Я всех знаю. Твой брат – приятель Али Мохаммед. Мы не можем про-давать его приятелю плохо. Твой брат – ха-а-роший человек! Сам Али Мохаммед его почитает.

– Да кто же он, этот Али?

– Я же сказал – большая важная купец. Персия торгует и Россия тоже, – ответил хозяин.

– Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, ученый, – возразил я.

– Ой-я, ученый! Ученый он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже ба-а-льшой ученый.

– А где живет Али, вы не знаете?

Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал:

– Ты, видать, здесь мало живешь. Али дом – напротив твой брат дом.

– Напротив дома брата очень большой сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там всегда мертвая тишина, и даже ворота никогда не открываются, – сказал я.

– Тишина-то тишина. А вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд. Будет сговор, пойдет замуж. Если ты сказал, Али Махмуд красавец, – ой-я! Сестра – звезда с неба! Косы до пола, а глаза – ух! – Купец развел руками и даже захлебнулся.

– Как же вы могли видеть ее? Ведь по вашему закону покрывала нельзя снимать перед мужчинами?

– Улица нельзя. У нас и в дом нельзя. А у Али Мохаммед все женщины дома ходит открыта. Мулла много раз говорил, да перестал. Али сказал: «Уеду». Ну, мулла и молчит пока.

Я простился с купцом, взял покупку и пошел домой. Шел я долго; где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом отыскал наконец свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки, и я не мог решить, какие же у нее глаза: черные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата?

Я шел, глядя под ноги, и внезапно услышал: «Левушка, да где же ты пропадал? Я уже собирался было тебя искать».

Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы, а еще яркие, красиво очерченные губы, золотые выющиеся волосы, темные брови... Я впервые разглядел, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда; а сейчас, точно маленький, ни с того ни с сего бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат.

– Это тебе халат. А твой Али причиной, что я совсем оторопел и заблудился, – сказал я со смехом.

– Какой халат? Какой Али? – с удивлением спросил брат.

– Халат номер 8, который я тебе купил в подарок. А Али номер 1, твой друг, – ответил я, все продолжая смеяться.

– Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам все еще жива в тебе, – улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. – Ну, пойдем домой, не век же нам стоять тут. Хотя никого и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком, из-за края занавески, на нас не смотрит любопытный девичий глаз.

Мы двинулись было домой. Но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт.

– Подожди, – сказал он, – едут.

Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Мохаммед.

– Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное, – сказал мне брат. – Только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги.

Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться еще два-три человека. Теперь уже и я различал топот нескольких лошадей и шум коляс на мягкой немощенной дороге.

Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядевшись, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании.

Первой шла простая телега. В ней сидели две укутанные женские фигуры и трое детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук. Вслед за ними, в какой-то старой бричке, ехал старик с двумя элегантными чемоданами. И, наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж,

который пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду.

– Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили, – шепнул мне брат.

Экипаж приближался. Это была изящная пролетка, запряженная прекрасным вороным конем, и в ней сидели две женщины с закрытыми черной сеткой лицами.

Из ворот дома вышел Али Мохаммед, весь в белом и за ним, в такой же длинной белой одежде, Али Махмуд. Глаза Али старшего, почудилось мне, пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило; я прикоснулся к брату, желая сказать: «мы открыты», но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж.

Еще через мгновение Али старший подошел к экипажу, и... маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота.

Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али старческим голосом, а девушка смущенно улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало. Но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и, к великому негодованию старухи, на свет показались темные кольца непослушных волос. Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и, как ребенка, понес ее в дом. Между тем Али-молодой почтительно высаживал все еще ворчавшую старуху.

Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот. Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролетка въехала в ворота, и ворота закрылись... А мы все еще стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия.

Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясен. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьезно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно неизвестного мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму и были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию. Я не мог опомниться, все смотрел на это чужое, незнакомое мне лицо.

– Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? – вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос.

Я вздрогнул – от неожиданности не понял даже вопроса – и увидел перед собою высокую фигуру Али-старшего, который, смеясь, протягивал мне руку.

Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение; даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке пробежала теплая струя энергии. Я молчал. Мне казалось, что еще никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда, и я посмотрел на его руки. Они были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми, розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, все же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту, стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку – и увидишь воина, разящего насмерть.

Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я будто стоя заснул.

– Ну, пойдем же домой, Левушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? – услышал я голос брата.

Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне высокому и стройному Али. Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное,

близкое с детства, знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил. Привычка с детства видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном:

– Как мне хочется спать; как я устал, точно прошел верст двадцать!

– Очень хорошо, сейчас пообедаем, и можешь лечь часа на два. А потом пойдем в гости к Али Мохаммеду. Он здесь почти единственный ведет европейский образ жизни. Дом его прекрасно и с большим вкусом обставлен. Очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованны и ходят дома без паранджи, и это целая революция для здешних мест. Много уж раз ему угрожали муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев всяческими гонениями. Но он все так же ведет свою линию. Все, до последнего слуги, в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция. И я слышал, что против него теперь собираются поднять религиозный поход. А в здешних диких краях это вещь страшная.

Разговаривая, мы пришли к себе, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновки и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать. Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость. Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту, восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко восточная хитрость торжествовала над русской проницательностью, восточный торговец зачастую жестоко расплачивался за свой обман. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика, такой смешной фарс разыгрывали над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссер мог бы позавидовать их фантазии. Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения, в которые попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству.

Так незаметно за разговором мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить подаренный ему халат. Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон как нельзя больше шел к его золотым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль: «А мне никогда красавцем не бывать».

– Как удачно ты это купил, – сказал брат. – Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал, этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно его надену вечером, когда пойдем в гости к соседу. Кстати, заглянем-ка в «туалетную», как важно зовет денщик гардеробную, и выберем для тебя халат.

– Как, – вскричал я с удивлением, – разве мы пойдем туда ряжеными?

– Ну зачем же «ряжеными»? Мы просто оденемся так, как будут одеты все, чтобы не бросаться в глаза. Сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же мы дразнить их европейским платьем.

Однако когда брат открыл большой шкаф, в нем оказалось не восемь, а десятка два всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления.

– Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу семь халатов, начиная с ситцевого и кончая шелковым. Кто богаче, носят три-четыре шелковых; кто беден, только ситцевые, но непременно надевают сразу несколько, друг на друга.

– Мой Бог, – сказал я, – да ведь в этакую жару, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия.

– Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не дает возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот попробуй облачиться в эти два халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят, – сказал брат, протягивая мне два белых, очень

тонких шелковых халата. – Очень уж истово, как полагается по здешнему обряду, мы одеваться не будем. Но по четыре халата наденем. Я очень тебя прошу, надень и походи, попривыкни. А то, пожалуй, вечером, по своей рассеянности, ты действительно будешь казаться «ряженым» и сконфузишь нас обоих, – продолжал брат, видя, что я все еще держу в нерешительности поданные мне халаты в руках.

Не особенно горя желанием облачиться в восточный наряд, но никак не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты.

– Но они узки, какие же это халаты? Это нелепые перчатки, – закричал я, начиная раздражаться.

– Их надо застегнуть, вот здесь крючок, а здесь пуговица, – сказал спокойно брат и легкими, гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты.

– Теперь, Левушка, успокойся и надень этот зеленый халат; он пошире, его тоже надо застегнуть. В нем есть и карманы. А сверху надень еще этот широкий, серый с красными разводами, – и опять он очень ловко помог мне одеться.

– Да, и обувь еще, – сказал он. – У Али принят полуазиатский туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей. Иначе придется идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в уличной обуви.

Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар.

– Пройдем в спальню, там выберем тебе чалму.

– Как чалму? На кого же я буду похож? Я и так-то красой не блещу! Помилуй, Николушка, иди уж лучше один, – взмолился я.

Брат расхохотался:

– Да ведь покорять сердце прелестной племянницы Али ты не собираешься? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего же тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, – прибавил он, подумав, – если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты сможешь сойти за важного купца.

– Еще того чище! – воскликнул я. – Да этак, пожалуй, мне придется вспомнить, что меня считают неплохим любителем-актером!

– Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, то, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет второй белой чалмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан.

В эту минуту раздался легкий стук в дверь. Брат подошел к двери, и я услышал его приятно удивленное восклицание:

– Это вы, Махмуд! Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой.

– А я принес белую чалму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль в день ее совершеннолетия, – и он подал мне сверток и футляр.

– А это вам от Наль, – и он подал брату два свертка и два футляра. – Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой. А левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б., очень важный человек, – говорил мне Али-молодой. Он улыбался, алые прелестные губы обнажали чудные зубы, а фиолетовые его глаза пристально, не по летам серьезно, смотрели на меня. Кивнув нам головой и приложив, по восточному обычаю, руку ко лбу и сердцу, Али так же бесшумно скрылся, как и вошел.

Я развернул свой сверток, и оттуда выпал кусок тончайшей белой материи. Любопытство мое было так возбуждено, что, даже не подобрав упавшего шелка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание восторга и удивления. Прекрасной работы брошь с крупным выпук-

лым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеей из темного золота и жемчуга, сверкала в полутемной комнате, и я не мог оторвать от нее глаз.

Брат поднял оброненную мною материю и, рассматривая булавку вместе со мною, сказал:

– Али-старший посылает тебе от имени племянницы белую чалму – эмблему силы; и красный рубин – эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям.

– А что же он тебе посылает? – любопытствовал я.

Брат развернул сверток побольше, и в нем оказался тончайший белый халат из никогда не виданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаге. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая, в карман. Во втором свертке была такая же чалма, как моя, только в самом ее начале синим шелком, арабскими буквами, была выткана во всю ширину чалмы, – а она была чрезвычайно широка, – какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку, и на арабскую фразу, мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата.

«Если мне он шлет привет силы и любви, то что же он посылает Николушке?» – думал я.

Наконец брат свернул осторожно свою чалму, спрятал ее в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого овальной формы выпуклый изумруд сиял голубовато-зеленым светом. В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе.

– Вот так совершеннолетие Наль! – почти закричал я. – Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж наверное половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесные украшения для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты.

– Этими булавками мы заколем наши чалмы над самым лбом. Огромная честь получить такую булавку в подарок; и ее далеко не всем оказывают на Востоке, – ответил брат. – Али живет здесь лет десять; сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме.

Время быстро летело. Сумерки уже сгущались, и вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь.

– Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать. – С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и... я еще раз обмер от удивления.

– Ну и ну, – сказал я. – Почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях? – Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков.

– Нельзя же все написать, а еще менее возможно все рассказать в несколько дней, – усмехаясь, ответил брат.

Он посадил меня в кресло и, как заправский гример, приклеил мне бороду и усы, протерев предварительно все лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей мое горевшее от непривычного солнца лицо. Коричневым карандашом он провел под моими глазами два-три легких штриха. Какой-то жидкостью перламутрового цвета прикоснулся к моим густым темным бровям. Смазал каким-то кремом губы и сказал:

– А теперь чуть-чуть подравниваю твои кудри, чтобы черные волосы не выбились из-под чалмы. Садись сюда. – И с этими словами он усадил меня на табурет.

Мне, признаться, жаль было моих выющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку. Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета.

– Нет, нет, сиди, Левушка. Я сейчас обовью твою голову чалмой.

Я остался сидеть, брат развернул чалму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал, беспощадно стал скручивать ее жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо замотал всю мою голову.

– Голова готова; теперь ноги. Надевай эти длинные чулки и туфли, – сказал он, достав мне из картонной коробки в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли.

Я все это надел и встал на ноги; но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку.

– Теперь ты именно тот немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить, – засмеялся брат.

Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко; жидкость, которой было смазано мое лицо, – вначале такая приятная, – сейчас отвратительно стягивала кожу; ноге было неудобно, и, вдобавок ко всему, я еще, оказывается, немой и глухой. Со свойственным мне нетерпением я хотел раскричаться и заявить, что никуда не пойду; и уже приготовился сорвать бороду и чалму, как дверь беззвучно отворилась и в ней появилась высоченная фигура Али-старшего.

Два агатовых глаза положительно парализовали меня. Чалма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чем говорил он с братом. На нем был надет почти черный – так густ был синий цвет – халат; а под ним сверкал другой, яркий малиновый, плотно прилежавший к телу. На голове белая чалма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распущенным хвостом...

Приветливо и ласково улыбаясь, он подошел ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал ее; и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты, и на этот раз не сонной лени, а какой-то радости.

Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал:

– Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены и рана будет кровоточить.

Увлечшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная, высокая фигура. Я даже не сразу понял, что именно брат и стоит возле Али в подаренном ему мною сегодня фиолетовом халате. Я видел стройного восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой чалме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Высок был мой брат. Но рядом с высоченным Али он казался среднего роста.

– Посмотри на себя в зеркало, Левушка. Я уверен, что себя ты тем более не узнаешь, – со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив мое полное недоумение.

Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромая из-за неудобной левой туфли.

– Вы отличный артист, – едва улыбнувшись, сказал Али. Но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался.

Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть ли не черного, хромающего старика. Я оглянулся и вдруг услышал такой взрыв веселого, раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их еще усилился; между тем я случайно еще раз взглянул в зеркало и снова увидел в нем смуглого араба-старика. С трудом я осознал, что этот черный старик – я.

Я поднес руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой черный. Как это могло случиться? На мой вопрос он мне ответил:

– Это, Левушка, жидкость сделала свое дело. Но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, еще белее, чем всегда. Другая, такая же приятная жидкость смоет всю черноту с твоего лица.

– А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы, немые и глухи, – сказал, смеясь, Али. С этими словами он поправил на мне чалму, нахлобучив ее так, что теперь я уж и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти

с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок, он кивнул мне, и мы вышли на улицу.

Глава II

Пир у Али

На улице Али шел впереди, я в середине и брат мой сзади. Мое состояние от удушливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я все трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжелой палки стало каким-то отупелым. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось, и я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я все равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую незнакомую жизнь.

Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертые, завернули за угол и через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, вошли в сад. Я был поражен обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но неодуряющий аромат. По довольно широкой аллее мы двинулись в глубину сада, теперь уже рядом, и подошли к освещенному дому. Окна были открыты настежь, и в большой длинной зале были расставлены небольшие, низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. Подле каждого столика стояло еще по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе – при желании – можно было усесться по-восточному, поджав под себя ноги.

Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был яростным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей, довольно мощной, сети своих друзей. Но даже самые близкие друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством.

Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али-молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатым покрывалом. Не виданный мною прежде затканный жемчугом и камнями женский головной убор, перевитые жемчугом же темные косы лежавшие на плечах и спускавшиеся почти до полу; улыбающиеся алые губы, быстро говорившие что-то Али... Я хотел сдвинуть чалму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: «Вы глухи и немые, погладьте бороду».

Я злился, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания. Но не требовалось быть тонким физиогномистом, чтобы понять, как занято ее внимание моим братом.

Теперь мы стояли на большой, со всех сторон обвитой незнакомой мне цветущей зеленью террасе. Яркая люстра светила как днем, так, что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден.

Девушка среднего роста, тоненькая, гибкая! Крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала, но мне казалось, что она старается таким образом скрыть свое замешательство. Ее глаза, громадные, миндалевидные зеленые, не похожи были на глаза земного существа. Можно было представить, что где-то у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не вязались ни эти глаза, ни их выражение.

Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али-молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе.

Я все смотрел не отрываясь на лицо Наль. И не один я смотрел на это лицо, меняющее свое выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трех мужчин были устремлены на нее. И какое разное было их выражение!

Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания. Я подумал, что умереть за нее без колебаний он готов каждую минуту. Оба были очень похожи. Тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али – жгучий брюнет, и чувствовалось, что темперамент в нем тигра, что мысль его может быть едкой, слово и рука – ранящими.

А в лице Наль все было так мягко и гармонично; все дышало добротой и чистотой, и казалось, жизнь простого серого дня с его унынием и скорбями не для нее. Она не может сказать горького слова; не может причинить боль; может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив ее встретить.

Дядя смотрел на нее своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нем предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне все чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки.

Последним я стал наблюдать брата. Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова – как тогда под деревом – были слиты в одну прямую линию; глаза от расширенных зрачков стали совсем темными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить произвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению, точно панцирь укрывала его. И я почти физически ощущал железное кольцо этой воли.

Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в ее представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг нее сидят мужчины. Она, точно ребенок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно. Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала брату; но это было опять-таки обожание ребенка, в котором чистая любовь лишена малейших женских чувств.

Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделенных предрассудками воспитания, религии, обычаев...

Али-старший взглянул на меня, и в его, таких добрых сейчас, глазах я увидел мудрость старца, точно он хотел мне сказать: «Видишь, друг, как прекрасна жизнь! Как легко должны бы жить люди, любя друг друга; и как горестно разделяют их предрассудки. И во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любящих людей».

В моем сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль! Я увидел, как безнадежна была бы их борьба за любовь! И оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшегося в рамках почтительного рыцарского воспитания в своем разговоре с Наль.

Вначале такая детски веселая, девушка становилась заметно грустней, и ее глаза все чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением.

Али-старший взял ее ручку в свою длинную, тонкую и что-то спросил, чего я расслышать не смог. Но из жеста девушки, каким она быстро вырвала свою руку, поднесла розы к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос был о цветке. Али снова ей что-то сказал, и девушка, вся пунцовая, сияя своими огромными зелеными глазами, поднесла одну из роз к губам и сердцу и протянула ее моему брату.

– Возьми, – сказал Али так четко, что я все расслышал. – В день совершеннолетия женщина нашей страны дает цветок самому близкому и дорогому другу.

Брат взял цветок и пожал протянувшую его ручку. Али-молодой вскочил, как тигр, со своего места. Из глаз его буквально посыпались искры. Казалось, что он тут же бросится на

брата и задушит его. Али-старший только взглянул на него и провел указательным пальцем сверху вниз, – и Али-молодой сел со вздохом на прежнее место, словно вконец обессилив.

Девушка побледнела. Брови ее сморщились, и все лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Ее глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову двоюродного брата.

Али Мохаммед снова взял её руку, ласково погладил по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе и сказал:

– Сегодня тебе 16 лет. По восточным понятиям ты уже старушка. По европейским – ты дитя. По моим же понятиям ты уже человек и должна вступить в жизнь. Не бывать дикому сговору, который так глупо затеяла твоя тетка. Ты хорошо образованна. Ты поедешь в Париж, там будешь учиться, а когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мной в Индию, в мое поместье. Там доктором ты будешь служить человечеству лучше, чем выйдя замуж за здешнего фанатика. Мой и твой друг, капитан Т. не откажет нам в своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Обменяйся с ним кольцами, как христиане меняются крестами.

Мне было странно, что, не разбирая ни одного слова девушки, я четко слышал каждое слово Али.

На мизинце брат носил кольцо нашей матери, которой я совсем не помнил. Старинное кольцо из золота и синей эмали с крупным алмазом тонкой, изящной работы. Ни мгновения не раздумывая, брат снял свое кольцо и надел его на средний палец правой руки Наль. Она же, в свою очередь, сняла с висевшей у пояса цепочки перстень-змею, в открытой пасти которой покоился мутный, бесцветный камень, и надела его на безымянный палец левой руки брата.

Не успел я подумать: «Какой безобразный! Такой же урод, как и держащая его в пасти толстая змея», – как вдруг едва не вскрикнул от изумления: камень, похожий на стекляшку, вдруг засверкал всеми цветами радуги. Никогда ни один бриллиант самой чудесной воды и огранки не мог бросать таких длинных радужных лучей, сверкавших, как луч солнца, преломленный в хрустальной пирамиде.

У Али-молодого вырвался стон, почти крик. И снова взгляд дяди заставил его успокоиться, снова он опустил голову на грудь.

– Это камень жизни, – сказал Али-старший. – Он оживает, принимая в себя электричество из организма человека. Ты, друг Николай, сейчас в полном расцвете сил, и сердце твое чисто. Вот камень и сверкает ослепительно. Чем старше ты будешь становиться, тем тусклее будут лучи камня, если только мудрость и сила духа не придут к тебе на смену физических сил. Ты отдал моей племяннице самое дорогое, что имел, – любовь матери, закованную в это кольцо. Наль отдала тебе дар мудреца-прадеда, завещавшего ей передать кольцо тому, кого будет любить так сильно и верно, что и на смерть пойдет за него.

Я нечаянно взглянул на молодого Махмуда. Не цветущий юноша сидел напротив меня. Сидело привидение с прозрачным мертвенным лицом, с тусклыми, ничего не видящими глазами. Я подумал, что он в обмороке и только держится в сидячем положении, случайно найдя устойчивую позу.

– Сегодня, – продолжал Али Мохаммед, – должна совершиться та великая перемена в твоей жизни, о которой я тебе говорил месяц назад, моя Наль, и к которой я готовил тебя более пяти лет. Капитан Т. ответит тебя и двух твоих преданных слуг к себе домой. Али же пойдет с тобой. Там ты найдешь европейское платье для себя и слуг, переоденешься, отдашь свой халат и покрывало Али, и вместе с капитаном Т. вы все уедете на станцию железной дороги. Али же вернется сюда. Доверься чести и любви капитана. Он отвезет тебя в такой город и в такое место, где ты будешь в полной безопасности ждать меня или моего посла. Ни о чем не беспокойся. Храни только верность единственному закону, закону мира. Будь мужественна и жди меня без страха и волнений. Раньше или позже, – но я приеду. Повинуйся во всем капитану Т. и не бойся оставаться без него. Если он временно тебя покинет – значит, так будет необходимо. Но

он оставит тебя под охраной верных друзей, если бы случилась такая необходимость. А теперь выйдем в сад все вместе.

Мы вышли в сад. Али молодой подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек террасы. Внезапно весь дом погрузился во тьму, где-то перегорели пробки. Пользуясь полным мраком, брат, Наль, Али и еще две фигуры тихо вышли из сада через калитку. Али-старший что-то шепнул племяннику, и тот согласно кивнул головой. В темноте бегали какие-то люди, слуги зажгли кое-где свечи, отчего тьма показалась еще гуще. Так прошло с четверть часа. Мне померещилось, что я снова увидел Наль в том же розовом халате, с опущенным на лицо покрывалом. Как будто даже Али Мохаммед обнял ее за плечи; но среди пестрых впечатлений этого дня я уже не мог отдать себе ясный отчет ни в чем и подумал, что мне просто привиделась та, красота которой как будто врезалась в мое сознание. Между тем свет вдруг ярко вспыхнул, еще три раза мигнул и полился ровно.

– Настал час съезда, – четко сказал Али Мохаммед, и я опять понял все его слова. – Не забудьте – вы хромаете на левую ногу, вы глухи и немые. Вам будут много и почтительно кланяться. Не отвечайте никому на поклоны, только мулле едва кивните. Не ешьте ничего с общего стола. Кушайте только то, что вам будет подано с моего. К концу ужина настанет час выхода Наль. Она будет укутана в драгоценные покрывала. Всеобщее внимание будет приковано к условному похищению Наль женихом. К вам подойдет мой друг и проведет вас к задней калитке сада. Там будет стоять сторож. Вы ему покажете кольцо, что я вам дал, вас выпустят, и вы пройдете другой дорогой к себе домой. Дома вы найдете письмо брата. Вы снимете свою одежду, спрячете все, как вам будет сказано в письме. Придется вам немало поработать, чтобы привести в порядок дом. Надо, чтобы денщик ничего особенного не обнаружил, когда станет убирать комнаты.

С этими словами Али оставил меня и пошел навстречу группе гостей; им открыли калитку возле ворот, которой я раньше не заметил. Высокая фигура хозяина выделялась на целую голову над пестрой группой гостей. Некоторым он важно отвечал на поклон, и они проходили дальше. Другие задерживались подле, и он жал им по-европейски руки.

Гости все подходили, и вскоре вся аллея и веранда были густо усеяны живописными фигурами. Говор, смех и напряженное ожидание вкусного угощения, какие-то, очевидно, веселые рассказы – все создавало приподнятое настроение. Но, приглядываясь, я заметил, что гости держатся обособленными кучками. Те, что были одеты не совсем по-азиатски, держались особняком. А остальные все поглядывали на муллу, как музыканты на дирижера. Я поневоле пристально присматривался ко всем, думая обнаружить, не загримированы ли чьи-либо лица подобно моему, искусственную бороду на котором я так важно поглаживал.

Время незаметно шло, гости входили теперь реже, где-то заиграла восточная музыка, и из дома вышло несколько слуг, приглашая гостей в зал. В самой глубине зала, у дверей в соседнюю комнату стоял Али Мохаммед с еще не виденным мною очень высоким человеком в белой одежде и такой же чалме. Золотистая борода, огромные темно-зеленые прекрасные глаза, слегка загорелое лицо. Очень стройный, человек этот был молод, лет 28–30, и бросался в глаза своей незаурядной красотой. Ростом он был чуть ниже Али, но много шире в плечах, необычайно пропорционален, – настоящий средневековый рыцарь. Я невольно представил его в одеждах Лозэнгина.

Хозяин приветствовал входивших в зал глубоким поклоном. Гости рассаживались на диваны и пуфы, соблюдая все тот же порядок и держась отдельными кучками. Прибывшие оставляли туфли или кожаные калоши у входа, где их подбирали слуги и ставили на полки. Среди гостей не было ни одной женщины.

Я стоял, наблюдая, как проходят и усаживаются гости, и не представлял, куда я могу сесть. Я уже хотел было скрыться в сад, как почувствовал на себе взгляд Али. Он сказал что-то мальчику-слуге, и тот быстро направился ко мне. Почтительно поклонившись, он пригласил

меня следовать за собой и повел к столу, находившемуся неподалеку от стола хозяина. За этим столом уже сидело двое мужчин средних лет в цветных чалмах и пестрых халатах. Они сидели по-европейски, обуты были в европейскую обувь, а сверх европейских костюмов имели только по одному шелковому халату. Они почтительно поклонились мне глубоким восточным поклоном. Я же, помня наставление Али, даже не кивнул им, а просто сел на указанное мне место.

Только когда все гости расселись, заняли свои места Али и высокий красавец. Музыка заиграла ближе и громче, и одновременно слуги стали вносить дымящиеся блюда. Мальчики разносили фарфоровые китайские пиалы и серебряные ложки, подавая их каждому гостю. Но не все гости накладывали жирный, дымящийся плов в пиалы и ели его ложками. Большинство запускали руки прямо в общее блюдо и ели плов руками, что вызывало во мне чувство отвращения, близкое к тошноте. Хотелось убежать, хотя никогда прежде не виденная мною толпа представляла зрелище красок и нравов чрезвычайно интересное.

На наш стол тоже подали блюдо плова, но я не прикасался к нему, помня наставление Али и ожидая специального кушанья. И действительно, от его стола отделилась высокая фигура поразившего меня красавца, и он подал мне серебряную пиалу с небольшой золотой ложкой. Очевидно, честь, оказанная мне, считалась по здешним обычаям очень высокой, потому что на мгновение в зале умолк говор и шум, и вслед за наставшей тишиной пронеслись удивленные восклицания. Гости, судя по жестам и мимике, спрашивали друг друга, кто я такой. Многие очень серьезно поглядывали на меня, что-то говорили своим соседям, и те удовлетворенно кивали головой. Но в это мгновение внесли новые ароматные блюда, и всеобщее внимание отвлеклось от меня.

Я невольно встал перед державшим мою чашу красавцем. Он улыбнулся мне, поставил пиалу на стол и поклонился по-восточному. От его улыбки, от добрых его глаз, от какой-то чистоты, которой веяло от него, меня наполнила такая радость, как будто я увидел старого, верного друга. Я отдал ему глубокий восточный поклон.

Мои соседи по столу задавали мне какие-то вопросы, которых я не понял и не расслышал, а видел только их шевелящиеся губы и вопрошающие глаза. Меня выручил мальчик, сказавший им что-то, показывая на рот и уши. Сотрапезники мои покачали головами и, сострадательно поглядев на меня, принялись кушать с аппетитом свой плов, слава Богу, накладывая его ложками в пиалы.

Я поглядел на содержимое моей серебряной пиалы и несказанно удивился. Там, по виду, был компот из фруктов, а у меня уже разыгрался аппетит, и я с удовольствием поел бы чего-нибудь более существенного. Я разочарованно взглянул на Али Мохаммеда, он встретил мой взгляд, как бы зная заранее, что я буду разочарован. В его руках была точно такая же пиала, как моя, он ее приподнял, словно желая чокнуться со мной, и ласково улыбнулся. Чтобы не показаться невежливым и невоспитанным гостем, я взял и проглотил небольшой кусочек неизвестного мне плода, плавающего в соку, напоминавшем красное вино. И в тот же миг улетучилось все желание более основательной пищи. Чудесный вкус, аромат, вроде ананаса, и сок, бодрящий, прохлаждающий. Я ел с таким удовольствием, что даже перестал наблюдать за происходящим. А между тем наблюдать было что.

Оба моих соседа сняли свои халаты и пиджаки и остались в одних шелковых рубашках и широких черных поясах, заменявших жилеты. Влияние жары и на других более европеизированных гостей также ощущалось. Правовверные же, обливаясь потом, стирая его рукавами с лоснящихся лиц, усердно ели, нередко пятная свои драгоценные халаты, но никто не снимал ничего из своей одежды. Жара и тяжелые яства доводили гостей до изнеможения. Позы становились вольнее, голоса громче, затевались споры, очень напоминающие ссору.

Компот, поданный мне красавцем, обладал, очевидно, каким-то волшебным свойством. Мне перестало быть жарко, уже не хотелось содрать с себя чалму, я был бодр и ощущал свежесть во всем теле. Мне казалось, что я могу легко пройти сейчас верст десять, словно бы не

было вовсе утомления и волнений дня. Мысль моя обострилась, я стал внимательно наблюдать за всеми.

Полное спокойствие и самообладание, уверенность в самом себе и какая-то новая сила взрослого мужчины, которой я еще ни разу не испытывал, появилась во мне и удивила. Я вспомнил брата, Наль и Али-молодого. Почему-то у меня не было ни малейшего беспокойства за первых двоих, но Али-молодого я стал беспокойно искать глазами по всему залу. Мне пришла на память фигура в розовом халате Наль, которую я заметил в темноте сада. Я продолжал искать двоюродного брата Наль, но найти его не мог. Случайно мой взгляд встретился со взглядом хозяина, и я будто прочел в нем: «Храните самообладание и помните, когда вам уйти и что делать дома». Волна какого-то беспокойства пробежала по мне, точно порыв ветра, заставляющий мигать пламя свечи, – и снова я вернулся к полному самообладанию.

Между тем блюда сменились много раз, уже были расставлены всюду горы фруктов и сладостей. Мои соседи ели сравнительно мало, зато дыни поглощали в несметном количестве, посыпая их перцем.

Снова отделилась от стола Али великолепная фигура золотоволосого красавца, и он подал мне чашу с какими-то другими фруктами, напоминавшими по внешнему виду зерна риса в меду. Нагнувшись, он незаметно сунул мне в руку записку, опять низко поклонился и отошел. Я хотел отдать ему поклон, но не мог встать, мне не повиновались ноги. При свойственной мне смешливости, я расхохотался бы во все горло, если бы борода не стягивала так сильно щеки. Я развернул записку, там было написано по-английски: «Сначала съешьте то, что я вам сейчас принес. Не пытайтесь встать, пока не съедите этого кушанья. Вам непривычны наши пряные блюда, от них ноги – как от некоторых сортов вин – вам не повинуются. Но через некоторое время, после новой пищи, все будет в порядке. Не забудьте, в конце пира вам надо уйти, я сам отведу вас к калитке. Когда подымется шум, встаньте и немедленно идите к столу хозяина, я вам подам руку, и мы сойдем в сад».

Я не хотел раздумывать над сотней таинственных и непонятных мне вещей, но стать вновь хозяином своих ног я очень желал, а потому поторопился съесть содержимое чаши. Это было очень похоже на маленькие катышки сладкой каши в соусе из меда, вина, ванили и еще каких-то ароматных вещей. Мои соседи уже давно перестали обращать на меня внимание. Они следили, казалось мне, с возрастающим беспокойством за усиливающимся шумом и возбуждением гостей.

Я попробовал теперь двинуть ногой, привстал, как бы поправляя халат, – ура! ноги мои тверды и гибки. Шум в зале стал напоминать воскресный гул базарной площади. Кое-где за столиками шли ожесточенные споры, гости размахивали руками и, со свойственной Востоку экспрессией, выкрикивали визгливыми голосами какие-то слова. Мне показалось, что я уловил «Наль» и «Аллах». Шум в зале все усиливался. И тут я вспомнил, что мне пора вставать и двигаться к столу Али. Я хотел быстро подняться, но неловкость в левом башмаке сразу же заставила меня образумиться и войти в роль хромого. Я отдал должное уму и наблюдательности брата. Не будь этого неудобного башмака, толстой чалмы и склеивающей движение губ неуклюжей бороды, я бы уже сто раз забыл, что должен играть роль глухого, немого и хромого.

Взглянув на Али, я увидел, что мой красавец уже поднялся и двинулся мне навстречу. С огромным трудом я вылез из-за стола, оставив свои пиалы и ложку. Заметив мое затруднение, золотоволосый великан в один миг очутился возле меня; а мальчик, подскочив с листом мягкой белой бумаги, в один миг завернул обе мои серебряные чаши и ложку и подал их мне, что-то лопоча с глубоким поклоном. Видя, что я удивленно смотрю на него и не беру сверток, он стал почтительно совать мне его в свободную от палки левую руку.

– Возьмите, – услышал я над собой голос. – Таков обычай. Возьмите скорее, чтобы никому не пришлось в голову, что вы не знаете местных обычаев. Мальчик так усердно кланяется вам, потому что думает, что вы очень важная персона и недовольны столь малым подарком в

день совершеннолетия. Пойдемте, пора, – закончил он свою английскую фразу и поддержал меня под левую руку.

Я едва шел, неудобный башмак так жал мне ногу, что я почти подпрыгивал и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад. Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как потух свет. В зале раздался рев не то радости, не то озорства и негодования. Возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то легкое плотное покрывало, которое задело и меня. Мой проводник схватил меня, как малого ребенка, на руки и бросился в гущу сада. Добежав до калитки, мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Мохаммедом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку.

Мы очутились на пустынной улице. Глаза попривыкли к темноте, из сада несся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины. Небо сияло звездами. Мой спутник опустил меня на землю, снял неудобную туфлю. Наклоняясь ко мне, он стащил с меня и чалму и, пристально глядя мне в глаза, сказал:

– Не теряйте времени. Жизнь вашего брата, Наль и ваша зависит во многом от вас. Если вы в точности выполните все, как указано в письме, что лежит на подушке вашего дивана, – все будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немые; но помните всю жизнь, как вы играли роль старика на восточном пире. Будьте здоровы, завтра утром я вас навещу. А сегодня, что бы вы ни услышали, – ни в коем случае не покидайте дом и даже не выходите во двор.

Сказав мне все это по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме.

Когда я отворял дверь нашего дома, то увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. «Значит, горит и у нас», – подумал я. Обнаружив небольшую полоску света из-под двери кабинета, я пошел туда и поразился беспорядку, царившему там, при щепетильной аккуратности брата. Очевидно, здесь несколько человек переодевались. Но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата.

Притворив плотно дверь, я запер ее на ключ, задернул на ней тяжелую портьеру и поправил складки на полу, чтобы свет не проникал в щель. «Прежде всего, – думал я, – надо прочесть письмо». Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задернуты, я прошел в свою комнату. Здесь у самого дивана горела небольшая лампа. Окна тоже были укрыты плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня.

Я бросил палку, снял верхний халат, подошел к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано: «Завещание».

Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал и оттуда вынул два письма и записку. Одно из писем было длиннее и носило ту же надпись, сделанную рукой брата: «Левушке». На другом, незнакомым мне круглым, полудетским, женским почерком было написано: «Другу, Л.Н.Т.»

Я прежде всего развернул записку. Она была короткая, и я жадно ее прочел.

«Левушка, – писал мне брат, – некогда. Из большого письма ты узнаешь все. Теперь же не медли. Сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе. Все костюмы, что брошены в комнате, а также все с себя спрячь в тот шкаф в гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в девятой цветке обоев, считая от пола, совсем незаметную кнопку. Сверху опустится обитая теми же обоями легкая стенка и закроет шкаф. Но осмотри внимательно все, не забудь чего-либо из одежды».

Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы чалму и сдернул с левой ноги туфлю. Я очень обеспокоился, не потерял ли их дорогой. Но, поглядев на сверток с чашами, сунутый мне мальчиком, я рядом с ними увидел и уродливую туфлю, и чалму. Очевидно, мой спутник дал мне все это в руки, и я машинально держал все вместе, а войдя в комнату, бросил на стол.

Я достал вату, смочил сначала руки, и они сразу стали снова белыми. Я подумал, что придется долго возиться с лицом из-за бороды; но ничуть не бывало. Похожая на молоко, приятно пахнущая жидкость сняла всю черноту с лица; борода сразу отстала, мне сделалось легко и даже не так жарко. Я сбросил еще один халат, оставшуюся туфлю и чулки, надел легкие ночные туфли и пошел убирать комнату брата.

В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке все же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел; остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы. Оставалось все унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он обладал таким богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат. И действительно, едва я вышел в коридор, как могучий храп денщика заставил меня улыбнуться. Мои легкие шаги вряд ли могли нарушить его сон.

Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета с узлами в гардеробную. Наконец, я убрал всю обувь, оставались чалмы. Я узнал чалму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел было отколоть его и спрятать в футляр, но решил выполнить дословно приказ записки, взял все чалмы, подобрал и футляры и отнес все в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, чалму, сверток с чашами и несносную туфлю и все это тоже бросил в шкаф. Я еще раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашел футляр от своей булавки для чалмы и снова отнес в шкаф.

Еще и еще раз я осматривал внимательно все закоулки в комнате брата и, наконец, решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в девятом цветке обоев. Девярых цветков, считая снизу, было много и, наконец, на одном из них, отнюдь не самом близком к шкафу, мне удалось найти что-то похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно; я уже стал терять терпение и называть себя ослом, как легкий шелест заставил меня поднять глаза. Я едва не подпрыгнул от радости. Медленно ползла сверху стенка и через несколько минут, все ускорившись в движении, мягко опустилась на пол.

«Волшебство, да и только», – подумал я, и действительно, если бы я собственноручно не убрал все в шкаф, то даже не мог бы предположить, что комната эта имела когда-то другой вид. Но раздумывать было некогда, все виденное и пережитое мною за день слилось в такой сумбур, что я теперь даже неясно отдавал себе отчет в том, где кончалась действительность и начинался мир моих фантазий.

Я потушил свет в гардеробной, в которой не было вовсе окон, запер двери и снова вернулся в кабинет. На полу валялось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Все это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжег.

Теперь я мог успокоиться, потушил свет и перешел в свою «залу». Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жажды. Я перечел еще раз записку, убедился, что все по ней выполнил, и сжег ее на спичке.

Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова все смолкло. Я лег и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался; и образ брата Николая вставал передо мною другим, нежели я привык его себе рисовать.

Много, много лет прошло с той ночи. Не только я уже старик, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Наль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась; пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая все стоит передо мной таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далекую, незабвенную ночь. Вот оно, это письмо.

«Левушка!

Письмо это ты прочтешь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом; и тебе придется проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня в исключительные моменты жизни.

Теперь я обращаюсь к тебе как к брату-сыну. Собери все свое мужество и выкажи честь и бесстрашие, которые я старался в тебе воспитать.

Моя жизнь раскололась надвое. Я – христианин, офицер русской армии – полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать радостному концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска.

Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился?.. Все узнаешь, если конец истории не будет печален; вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное, то, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье».

Дальше, через несколько пустых строчек, более свежими чернилами и более нервным почерком, следовало продолжение:

«Ты уже знаешь Али Мохаммеда и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на пиру и... быть заподозренным в том, что ты выкрал Наль в тот час, когда ее жених должен был, по здешнему обычаю, похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али-старший и его друг, – мы с Наль, может быть, уйдем от грозы и ужаса преследования религиозных фанатиков...

Зайди к полковнику М. и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дожусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д. и привезем домой немало дичи; скажи, чтобы М. взял с собой лишнее ружье и побольше дробы. Сходи утром, часов в 8, передай все точно и не опоздай.

Дальше во всем доверься Али Мохаммеду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности. Но думай, хочешь ли добровольно, просто стать защитой, а может быть и спасением мне и Наль.

Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. Во всех случаях будь мужествен, правдив и честен.

Твой брат Н.».

Я взглянул на часы. Было уже почти четыре утра. Снова мне послышался шум на улице, хлопанье будто пастушеских бичей. Показалось даже, что в ворота стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой, потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов; начинались какие-то песни и сейчас же обрывались.

Мне казалось, что на улице происходит какой-то скандал; хотелось выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрения на дом брата.

Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажег снова лампу, перечитал еще раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое.

«Друг и брат, – начиналось оно, – я только маленькая женщина. Ты меня не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность.

Брат, Али Мохаммед, мой дядя, воспитавший меня, – лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым страшным человеком, фанатиком и другом муллы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен. И, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе.

Что я могу еще сказать, брат и друг? Я прошу помощи и ничего не могу обещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты – брат, брат-сын того, кого я люблю. Да будет же тебе моя любовь любовью сестры-матери. Останусь ли жива, буду ли мертва, – я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй; и пусть всегда останется в твоём сердце чудный образ твоего брата-отца, а также горячо любящей его и тебя Наль».

Снова послышался на улице шум; казалось, что бегут множество ног возле самого дома и грохочут телеги. Я потушил огонь и стал вслушиваться. Где-то, теперь подальше, опять прогремел выстрел; проехала, грохоча, еще одна тяжелая телега, – и снова все смолкло. Я чиркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице совсем светло; но я все же не решился открыть окна.

Я зажег лампу в комнате брата, взял конверты и письма, еще раз их перечел, бросил в камин и поджег.

Как странно горели письма! Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделилось и свернулось письмо брата, и я ясно прочел слова: «брат-отец». Затем снова все ярко вспыхнуло, а на письме Наль, точно на белом пятне в кругу огня, появились круглые буквы: «Наль». Еще раз все вспыхнуло, превратилось в красные лохмотья и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности.

Долго ли я сидел перед камином – не знаю. За весь истекший день я не мог отдать себе отчет во всем происходившем; а эта ночь, какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно. Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я еще в жизни не испытывал. «Брат-отец» – все мысленно, на тысячу ладов шептал я, и слезы катились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил все, что имел лучшего в жизни; что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Ни на минуту в сердце моем не было страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чем может выразиться моя, такого неумелого и неопытного, помощь ему? Этого я себе не представлял.

Время шло; я все сидел без мыслей, без решений, с одной болью в сердце и не мог унять льющихся слез. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы – было без четверти семь. «Пора», – подумал я. У меня оставалось времени только чтобы одеться и идти к полковнику с поручением брата. Я перешел в свою комнату, отдернул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице все было тихо.

Я прошел в умывальную комнату, по дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я велел ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника М.

Очевидно внезапные отъезды на охоту были в привычках брата, ибо денщик мой ничуть не удивился. Он предложил мне, что сбегает сам к полковнику, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шел

быстро, было жарко. День был праздничный, и, проходя мимо базара, я шел среди оживленной, густой толпы. Я старался ни о чем не думать, кроме ближайшей задачи: оповестить М., и даже страсть к наблюдениям заснула во мне.

– Здравствуйте, – вдруг услышал я за собою. – Вот как! Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить? – передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник М.

– Да я к вам спешу, – обрадовался я. – Брат просил передать, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперед на охоту.

И я подробно передал все порученное мне в записке насчет встречи, ружья и дробы.

– Вот хорошо-то! – весело воскликнул полковник. – А ко мне приехал племянник, страстный охотник; и просит, молит взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выеду не сегодня, а завтра на рассвете.

Разговаривая, мы пересекли базарную площадь, в конце ее, у развалин старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько желтых халатов и остроконечных шапок с лисьими хвостами монашеского ордена дервишей.

– Да, должно быть здорово обозлены эти желтые на Али Мохаммеда, – сказал полковник.

– Почему? – спросил я. – Что им сделал Али Мохаммед?

– Да разве вы не слыхали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти желтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слыхали? – продолжал спрашивать полковник.

Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал:

– Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас; а брат мой уехал вчера вечером.

На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться похищение невесты, его племянницы. Что это – часть обряда, заранее обусловленная; что едет жених похищать невесту с толпой своих товарищей, с пальбой из ружей и прочей инсценировкой дерзкого похищения; а на самом деле невесту они находят в определенном месте, выведенную старухами, хватают ее и мчат во весь опор в дом жениха на хороших конях, стреляя в воздух.

Мне вспомнились выстрелы и шум телег ночью; и я недоумевал, чем же это разрешилось, кого же увезли вместо Наль. Видя, что я молчу, полковник счел, что его рассказ меня не занимает.

– Конечно, вам, столичному человеку, не интересны наши дела. Но живя здесь, видя тьму, в которой обретаются люди, зажатые муллой, поневоле сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу такого чудесного человека, как Али Мохаммед, с религиозным фанатизмом. Это истинный слуга народа.

Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом; и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которой я никогда раньше не видел.

– Да, так вот я и говорю, что они подстроили – вот эти, – кивнул он головой на желтые халаты монахов, – самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали ее куда-то, а его обвиняют, что он устроил побег с помощью какого-то важного хромого старика купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью с пира жених и его друзья похитили Наль: а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфелек невесты, а самой невесты и след простыл. Оскандаленный жених примчался к Али. Весь дом спал уже глубоким сном. Еле добудились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тетка Наль чуть глаза не выцарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму. Но, разумеется, они девушку упрятали в надежное место, чтобы оскорбить Али и объявить

против него религиозный поход. Это очень хорошо, что ваш брат вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход – это благовидный предлог для убийства неугодных и сведения личных счетов.

Я молча шел рядом с полковником, погруженный в невеселые думы о брате и Наль, обоих Али и обо всех грозящих им бедах. Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто, куда подевался хромой старик с пира?

Мы подходили к дому полковника, он звал меня радушно к себе, но я отговорился головной болью и поспешил домой.

Глава III

Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али

Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днем. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь у калитки сада.

Мне все казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошел в сад. Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принес самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать.

– Налей-ка чаю, – сказал я ему, – дыни ты, кажется, купил хорошие.

– Так точно, – ответил он. – Изволили слышать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стекла побили... драка была и стрельба.

– Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слышал, – возразил я ему.

– Так точно, я не слышал сам. Вот торговец мне сказал, да все спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома? Я сказал, на охоту уехавши еще с вечера. И он все допытывал, когда, мол, уехал, да куда. Я сказал, часов в пять уехал, как всегда к Ибрагиму.

В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошел в дом, а открыл калитку сада, рядом с дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя.

– Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, встревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я и решился прибегнуть к стуку, – сказал он на довольно чистом русском языке.

При ярком свете утра красота моего гостя еще больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие миндалевидные, совершенно изумрудно-зеленые глаза, – все при сияющем солнце было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной и вместе с тем молодой мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил:

– Мое утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал; но если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учит, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг.

– Вот как, – воскликнул я. – До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье.

– Я и есть итальянец, и родина моя Флоренция. Вы не думайте, что все итальянцы смуглые брюнеты. В Венеции женщины даже полагали неприличным иметь черные волосы и красили их в золотистый цвет, что доставляло им немало хлопот, – говорил он, смеясь. – Но мои волосы не поддельные, мне не приходится волноваться.

– Да, – сказал я, – вы так дивно сложены, что ваш рост поражает только, если рядом с вами видишь человека нормального роста, который сразу кажется малышом, – сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. – Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Мохаммеда я не в силах смотреть; они меня точно прожигают. Вы же не подавляете, но привлекаете к себе, словно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, – вырвалось у меня восторженно, по-детски.

Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки.

Только сейчас я увидел, вернее сообразил, что мой гость одет не по-восточному, как ночью, а в обычный европейский костюм песочного цвета из материи вроде чесучи. Должно быть, на моей физиономии отразилось изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо:

– И вида никому не показывайте, что вы меня видели в иной одежде. Ведь и вы сами были в чалме со змеей, хромы, глухи и немые. Разве я не мог, так же как и вы, переодеться для пира?

Я расхохотался. Хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но... видев его однажды в чалме и одежде Востока, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец. Точно угадывая мои мысли, он снова сказал:

– Уверяю вас, что я флорентиец. Хотя и очень, очень долго жил на Востоке.

Я снова расхохотался. Желание гостя подурочить меня было так явно! Эта цветущая красота – ему не могло быть больше двадцати шести – двадцати семи лет.

– Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно живете на Востоке? – спросил я. – Ведь вы не многим старше меня. Хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейский костюм и прическа выдали вас с головой.

– Да, – многозначительно ответил он, глядя на меня с юмором. – Ваш европейский костюм и прическа тоже окончательно выдали вашу молодость.

Я закатился таким смехом, что даже пес залаял. А гость мой, кончив есть дыню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли к брату.

Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал:

– Это нехорошо, отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги.

Я взял со стола старую газету, подсунул ее под оставшиеся в камине клочки бумаги и снова поджег.

– Я вижу, вы все тщательно убрали, – продолжал он, осматриваясь по сторонам. – Кстати, откололи ли вы броши с чалмы своей и брата?

– Нет, – сказал я. – В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их вместе с чалмами и запер в шкафу. Вернее, похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену, – улыбнулся я.

– Этому делу помочь просто, – возразил мой гость.

Тут вошел денщик и спросил разрешения пойти на базар. Я дал ему денег и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушел, закрыв за собой дверь черного хода, мы прошли с гостем в гардеробную брата.

– Вы и дверь не закрыли на ключ? – сказал он мне. – А если бы ваш денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную?

Он покачал головой, а я еще раз понял, насколько же я рассеянный.

Я зажег свет, гость мой наклонился и указал на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвертом цветке такую же, еле заметную кнопочку. Нажав ее, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании.

Как и в прошлый раз, лишь через несколько минут послышался легкий шорох, и между полом и стенкой образовалась щель. Движение стенки все ускорилось, и наконец она вся ушла в потолок.

Я отпер дверцы шкафа и достал чалмы, непочтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашел футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман.

– А в туалетном столе вашего брата вы не разбирали вещи? – спросил он меня.

– Нет, – отвечал я. – Я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано.

– Давайте – ка посмотрим, нет ли и там чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии.

Разговаривая, мы вернулись в комнату. Мысли вихрем носились в моей голове, – почему надо искать ценности? Почему может что-то пригодиться «впоследствии»? Разве брат мой не вернется сюда? И что же будет со мною, если он не вернется? Все эти вопросы точно горели в моем мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить. Мне было чудно, что человек, вместе со мной роющийся в ящиках, мне совершенно чужой; а все же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту.

Из ящиков гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек он нашел плоский серебряный футляр с эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными камнями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке.

– Ваш брат позабыл второпях эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которой очень дорожит. Возьмите ее, и если жизнь будет милостива ко всем нам, – когда-нибудь вы передадите ее брату, – проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком. При этом он нежно, ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в мое взбудораженное воображение и взволнованное сердце пролилось спокойствие. Я почувствовал уверенность, что все будет хорошо, что я не один, у меня есть друг.

Мог ли я тогда думать, сколько страданий мне придется пережить? Сколько несчастий свалится на мою бедную голову! И каким созревшим и закаленным человеком стану я через три года, пока не увижу брата, и в жизни его и моей действительно все наладится.

Я спрятал в боковой карман заветный футляр, но потом, рассмотрев его ближе, понял, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ. Захватив еще кое-что, что казалось необходимым моему гостю, мы заперли ящики, отнесли все в гардеробную, плотно задвинули створки шкафа; и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ и вышли снова в сад.

Здесь гость мой сказал, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас ни встретил, как своего петербургского друга и то же сообщил о нем денщику. Затем он передал мне приглашение Али провести сегодня день в его загородном доме, куда он уехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и не спрашивал ни о чем.

Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы ждали в саду денщика, и обаяние моего гостя все сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише подле него. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем.

А сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернемся раньше завтрашнего утра, пусть он не тревожится о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил свое всегдашнее: «Так точно».

Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шел за моим новым другом, и вдруг мне показалось странным, что я знаком с этим человеком чуть ли не целые сутки, так много пережил интимного с ним и подле него – и даже не знаю, как его зовут.

– Послушайте, друг, – сказал я. – Вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга. А я не знаю даже, как мне самому вас звать, не то что называть кому-то.

Он улыбнулся, взял меня под руку, – но я думаю, ему было бы удобнее положить мне руку на плечо, так я казался мал рядом с ним, – и тихо сказал мне по-английски:

– Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я и в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую.

Он вставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, – и я прыснул со смеху, до того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное, умное лицо вдруг поглупело.

– Ну, вот видите, как весело, – процедил он сквозь зубы, – я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы хромого дедушку. Всем представляйте меня лордом Бенедиктом, а сами зовите Флорентийцем, как зовут меня свои.

Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брата. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту; я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином лордом Бенедиктом.

Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. На обращенные к нему вопросы мямлил сквозь зубы по-английски: «Не понимаю», несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил тарасивших глаза армейцев, никогда не выдавших живого лорда с моноклем, и, наконец, быстро проговорил, что лошади нас ждут и я должен сказать им, что еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину.

Мы простились, я еще сдерживал душивший меня смех, но когда услышал пущенное возмущенным тоном вдогонку: «Ну и английская харя», – я уже не смог сдержаться, залился вовсю, и сзади мне вторили два раскатыстых баса. Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повел, – отчего мне было еще смешнее.

У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две поджарые, истинно английские лошади нервничали, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета, с английским кнутом в руке, точь-в-точь как на картинках модных журналов.

Я поглядел удивленно на моего лорда, он элегантно чуть-чуть поклонился мне и предложил первому занять место в коляске. Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались. Довольно скоро мы выехали за город. Я еще не видел окрестностей. По обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны дынь и арбузов. Непрерывно ехали нам навстречу на ослах люди всех возрастов в чалмах. Нередко на одном осле устраивались сразу двое. Встречались и женщины, укутанные в черные сетки и покрывала, тоже иногда сидевшие по двое на одном осле.

Все тонуло в пыли; было залито солнцем и зноем, и казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили. Так ехали мы около часа. Наконец свернули налево и, проехав еще немного, очутились в степи. Картина сразу резко изменилась. Точно мы попали в другое царство. Все буйство природы, вся зелень остались позади; а впереди, – сколько мог охватить глаз, – тянулась пустынная степь с выжженной травой.

Меня укачали ритмичный бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мельканье нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал.

– Мы скоро приедем, – сказал мне мой спутник по-русски. Я встрепнулся, посмотрел на него и... обмер. Передо мной сидел в чалме и белой одежде мой ночной покровитель.

– Когда же вы успели переодеться? – почти вскричал я в раздражении.

Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку, и я увидел ящик, в котором лежали халат и тюрбан, в виде уже намотанной чалмы.

– Я оделся, как требует долг восточной вежливости, – сказал мой спутник. – Ведь если мы приедем в европейском платье – Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата.

– Мне не только был бы несносен восточный подарок, но и вообще я потерял, думаю навсегда, вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи, – не совсем мягко и вежливо ответил я.

– Бедный мальчик, – сказал Флорентиец и ласково погладил меня по плечу. – Но, видишь ли, друг Левушка, иногда человеку суждено созреть быстро и сразу после юности стать закаленным мужчиной. Мужайся. Вглядишься в свое сердце, чей портрет там живет? Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну.

Слова его заделали самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слез, я точно захлебнулся своим горем.

«Я ведь решил быть помощником брату, – подумал я, – зачем же я думаю о себе. Пойду до конца. Начал маскарад – и продолжать надо. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его». Я проглотил слезы, вынул тюрбан, надел его на голову и облачился в пестрый халат поверх своего студенческого платья.

Вдали был виден уже дом, сад, и начинался по обе стороны дороги виноградник. Гроздья винограда зрели и наливались соком, краснея и желтея на солнце.

– Теперь недолго страдать и мучиться в догадках, – сказал Флорентиец. – Али все расскажет тебе, друг, и ты поймешь всю серьезность и опасность создавшегося положения.

Я молча кивнул головой, мне казалось, я достаточно уже все понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то легкую и радостную страницу своей жизни и вступил в новую полосу грозы и бед.

Мы въехали в ворота, к дому вела длинная аллея гигантских тополей. Как только экипаж остановился и мы оказались в довольно большой передней, к нам быстрой, легкой походкой вышел Али Мохаммед. В белой чалме, в тонкой льняной одежде, застегнутой у горла и падавшей широкими складками до пола, он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шел, издали протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством, я бросился к нему, как будто бы мне было не двадцать, а десять лет.

Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, скрывать свои чувства. Все условные границы были стерты между нами. Мое сердце прильнуло к его сердцу, и я всем своим существом почувствовал, что нахожусь в доме друга, что отныне у меня есть еще один друг и родной дом. Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал:

– Пусть мой дом принесет тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг.

С этими словами он поцеловал меня в лоб, еще раз обнял и повернул к Али-молодому, стоявшему сзади.

Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти, от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу?

Но Али-молодой, так же как и его дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза; и ничего, кроме доброжелательства, я в них не прочел.

– Пойдем, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты найдешь душ, свежее белье и платье. Если пожелаешь, переоденься, но прости, европейского платья у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше легкое индусское платье. Если ты пожелаешь остаться в своем, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться.

С этими словами он повел меня по довольно большому дому и ввел в прелестную комнату, окнами в сад, под которыми росло много цветов.

– Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью ванная комната, – прибавил он.

Он ушел, я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился, открыл дверь в ванную и, увидев, что ванна полна теплой воды, с восторгом стал в ней плескаться. Наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я еще вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принесший мне какое-то прохладительное питье. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне, так была велика моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить.

Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, что-то бормоча, закивал утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащил оттуда белье и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своем платье, но у слуги был такой радостный вид, он был так счастлив, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал:

– Да, да, ты угадал.

Он ответил на мой смех еще более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить:

– Да, да, ты угадал.

Речь его была так смешна, я мальчишески залился хохотом и вдруг услышал звук гонга.

– Батюшки, – закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать, – да ведь я опоздаю!

Но мой слуга понял все отлично. Он быстро подал мне короткие белого шелка трусы, длинную рубашку, белый шелковый нижний халат и еще одну белую одежду, легкую льняную, вроде той, в какую был одет Али Мохаммед. Не успел я залезть во все это, как раздался стук в дверь и на мой ответ «войдите» появился Али-молодой.

– Ты уже готов, брат, – сказал он. – Я принес тебе чалму; подумал, что ведь твоя остриженная голова сторит без нее.

– Да я не сумею ее надеть, – ответил я.

– Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан. – И действительно, гораздо ловчее, чем это делал брат, он обернул мне голову чалмой. Мне было удобно и легко. На голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмудом обедать.

Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и Флорентиец. Я извинился за свое опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал:

– У нас нет строгого этикета, когда мы живем на дачах. Если бы тебе вздумалось и совсем не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и веселее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнешь и наберешься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе – возьми в моем доме всю любовь и помощь и помни обо мне, как о преданном тебе навеки друге.

Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на Флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой юной цветущей красоте, где, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни. Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом, рассмеялись и оба Али.

Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было.

Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную, с превкусными гренками; отдал дань и чудесным фруктам. Я так был занят едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников.

Подали в чашах прохладительное питье; но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на пиру Флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо на незнакомом мне языке, Али же молодой объяснял мне названия и свойства цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяди редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами.

Хотя я и насыщал свой аппетит, все же заметил, что Али-молодой ел мало и, казалось, только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом, но все же отведать все подававшиеся блюда. Но сколько я ни смотрел на Али-старшего, я ничего, кроме фруктов, меда и чего-то похожего на молоко, в его руках не видел. Незаметно обед кончился.

С самого начала меня несказанно удивила перемена, происшедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне еще более разительной. Его нетронутой безмятежной юности как не бывало. Он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, что вся его психика словно сделала скачок в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что ведь и я перешел черту безмятежного детства и занавес над ним опустился. Начиналась другая жизнь...

Все время, с того самого момента, как Али Мохаммед обнял меня, я хотел спросить его о брате, – и все вопрос застыл на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска по брату резанула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал мне:

– Не хочешь ли, друг, пройтись со мной к озеру. Оно недалеко, в конце парка.

Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и мы двинулись в глубь сада. Мы с Али-старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой шаги Флорентийца и молодого Али. Но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила никем, кроме птиц и цикад, не нарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли мое внимание чернолистные клены и розовые магнолии. Дивные большие цветы бледно-розового цвета покрывали магнолии так густо, что они казались гигантскими розовыми яйцами. Аромат был силен, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми легкими душистый воздух и, забыв все раздражающие меня мысли, воскликнул:

– О, как прекрасна, как дивно прекрасна жизнь!

– Да, мой мальчик, – тихо сказал Али. – Обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев. Черные клены и розовые магнолии – и все вместе, будучи таким ярким контрастом, живет в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии Вселенной. Вся жизнь – ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни, состоящее из вереницы про-

стых серых будней было бы соткано из одних только розовых жемчужин. В каждом ожерелье чередуются все цвета, и каждый связывает свои жемчужины нитью своих духовных сил, нося все в себе. Ты уже не мальчик. Настала пора выявить и тебе твои честь, мужество, верность.

Мы двинулись дальше; вдали сверкнуло озеро; мы еще раз свернули в аллею могучих кедров и подошли к беседке, устроенной из плакучего вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой. Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась здесь. Но слова Али подняли во мне бурю. Мысли мои кипели; я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но никак не мог привести себя в равновесие.

– Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрек их на муки и угрозу смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить стену фанатизма, пробить тропинку хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ, отдельно для мальчиков и мужчин и для девочек и женщин, где бы они могли учиться грамоте на своем и русском языках и начаткам, самым элементарным, физики, математики, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки; и не только муллами, но и царским правительством. С обеих сторон я слышу революционером, неблагонадежным человеком. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял, в какое положение попал; и отдал себе точный отчет в своих дальнейших действиях и поступках. Я заранее тебя предупреждаю: на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своем выборе и поведении. И что бы ты ни услышал от меня – ты сам, добровольно, выберешь свой путь. Сам нанижешь в ожерелье матери Жизни ту жемчужину, цвет и величину которой создашь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устранишься от борьбы за брата и Наль – тебя твой «лорд Бенедикт», – чуть улыбнулся Али, – отвезет в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата – ты сам определишь ту помощь и роль, которые пожелаешь принять. Наль воспитана мною. Только внешняя форма – на восточный манер – соблюдалась, и то весьма не строго. Наль хорошо образованна и ее блестящие способности помогли ей узнать гораздо больше, чем знает любой окончивший европейский университет человек. Пять лет назад я уговорил твоего брата заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с нею. Отсюда и происхождение тех восточных халатов, бород и усов, что вы схоронили сегодня с Флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая дуэнья, старая мать Али Махмуда, когда-то спасенная мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Только переодеваясь в другие халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль. И старая, подслеповатая женщина была уверена, что впускает все разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла иногда Наль громко смеяться, но это не будило глухую дуэнью.

Я представил себе два прекрасных молодых существа, которые учатся под охраной полуслеплого, полуглухого стража, вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль: «Вы хромы, глухи и немые», – и закатился своим мальчишеским смехом. Али погладил меня по плечу и продолжал:

– Время шло. Я понял давно, какое чувство возникло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте. Я не мешал этому чувству, так как все равно не видел для Наль иного выхода, нежели побег из этого гнетущего места, и готовился к нему заранее. Старая дурища испортила весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с муллой и дервишами. Довела дело до сговора несчастной Наль с самым отчаянным и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь меня ждет объявление религиозного похода, ведь я не давал согласия на брак и покровительствовал христианам. Не буду утруждать тебя подробностями – ты сам видел, что избежать сговора не удалось. В тот миг, когда тебя вывел Флорентиец из сада, на женской половине тоже шел пир. Там все было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али,

мой племянник, пробравшийся в темноте в костюме Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Все совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад и там, переданная из рук в руки, «похищена» женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обряду для знатного купеческого дома, было выполнено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все товарищи с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, драгоценные покрывала и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумно из телеги – на что он большой мастер – и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего уже уснувшего дома, где мы его поджидали у калитки вместе с Флорентийцем.

Немало выстрадал Али. Ты не мог не заметить перемены, происшедшей в нем за одну ночь. Он обожал с детства сестренку, часто учился вместе с ней у твоего брата. Наль – его второе «я»; и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжелый плащ предрассудков, мечты об особенной судьбе для Наль и себя – все это окутывало Али и должно было или сгореть в нем, или похоронить его под собою. Он никак не ожидал, что первым другом и покровителем в жизни Наль будет не он. Не верил, что я стану на сторону твоего брата и благословлю эту любовь, – чистой и прекрасной он признавал ее всегда. Уступить Наль другому мужчине, да еще европейцу, было для него непереносимо. Дозволить ей уйти в опасный путь без себя – все это сначала разбило его. Его спасла беспредельная верность мне, верность и любовь ребенка, потом юноши, от которого у меня не было тайн. Его истинная поглощающая любовь к Наль, заставившая забыть о себе и думать о ней, – спасла не одну, а три жизни, которые были бы прерваны его рукой, если бы верность не победила все. В эту ночь он добровольно выбрал тропу жизни и надел на нить своего ожерелья черную, как листья черного клена, жемчужину отречения, чтобы помочь жить женщине, так похожей на розовую магнолию...

Я уже сказал, не сегодня завтра объявят религиозный поход против меня. Что это означает, я лучше не буду тебе объяснять. Когда, доехав до дома жениха, увидели, что в повозке лежит только одна одежда Наль, – мгновенно известили муллу и дервишей и, посоветовавшись с ними, вернулись в мой спавший дом целой толпой с омерзительными криками, оскорблениями и угрозами. Я молча стоял среди этой разъяренной толпы. И наконец, воспользовавшись минутой относительного затишья, велел слугам вызвать старух, которые должны были вывести Наль в сад, в условленное место, к жениху. Толпа ждала. Казалось, все вокруг наполнено электрическими токами бешенства. Шли минуты, походившие на часы. Переполох в доме, конечно, давно разбудил всех на женской половине. Вскоре шесть старух во главе со старой теткой Наль встали рядом со мной.

– Эти люди, – сказал я им, – обвиняют вас в том, что вы не Наль вывели в сад, а одну ее одежду отдали жениху. – И среди озверевших мужчин и дрожавших от страха и внезапно пришедших в бешенство женщин поднялся невообразимый вой. Обе стороны готовы были вцепиться друг в друга. Размахивая руками, вопя какие-то проклятия, старая тетка Наль утверждала, что сама вложила руку Наль в руку жениха. Остальные подтверждали, что видели, как жених взял Наль на руки, и даже заметили, что он был слабоват для нее. Я посмотрел на жениха, он потупился и сказал, что ему не приходилось носить на руках женщин и что действительно Наль показалась ему тяжелее, чем он предполагал. На мой вопрос, донес ли он ее и посадил ли в телегу, он указал на двух своих товарищей, людей большого роста и силы редкой, и сказал, что сам он едва смог донести Наль до калитки, что там ее взял один из товарищей и донес до телеги; а в телегу ее осторожно положили его рослые друзья. Пришлось мне и их спросить, была ли то Наль или только ее одежда, которую они уложили в телегу. Оба утверждали, что несли невесту. Я стал уговаривать их разойтись, чтобы не привлекать к семейному скандалу внимание русских властей. Я читал смертельную ненависть в их глазах и нисколько не сомне-

вался, что если бы не рассвело и не боялись бы они отвечать перед русским судом, – они бы прикончили и меня, и Али, и многих из моих домочадцев и гостей. По местным понятиям, весь позор падал на жениха. Он злобно посмотрел на своих рослых товарищей, какое-то подозрение вдруг мелькнуло в его глазах, и, повернувшись круто к ним спиной, он грубо обругал их и быстро побежал к калитке.

Остолбенев на миг, все его товарищи, мулла и толпа, пришедшая с ними, – все бросились бежать вслед за женихом, натываясь друг на друга, валя кого-то с ног, застревая в узкой калитке. За стеной сада слышалась перебранка жениха с товарищами и муллой, несколько выстрелов, крики. Но калитка захлопнулась, еще раз слышались крики, шум отъезжающей телеги, конский топот – и все смолкло. Старухи были искренне убиты позором и несчастны. Они клялись и божились, что Наль сидела с подругами вечером за столом, что они сами накинули ей еще и черное покрывало поверх драгоценных уборов и наперебой рассказывали, как тяжело было жениху нести невесту, как он передал ношу товарищу и т. д. Я велел всем идти спать, сказав, что сам буду искать Наль, чтобы ни в дом, ни из дома в течение суток никто не входил и не выходил.

– Сейчас я уже имею известие, что твой брат и Наль едут благополучно в скором поезде в Москву. Но это не значит, что они уже спасены. Пока не доберутся до Петербурга и не сядут на пароход, отходящий с Невы в Лондон, – нельзя быть уверенным в их безопасности. Перейдем теперь к твоей роли, – продолжал Али Мохаммед после короткого раздумья. – Ты невольно запутан в эту историю, как брат Николая, поскольку злой глаз религиозных фанатиков видит врагов во всех друзьях того, против кого объявляют религиозный поход. А друг – это каждый, кто близок или хорошо знаком с настоящими друзьями отвергаемого. К тому же дервиши решили, что похитил Наль незнакомый им хромой старик, и этот след может привести к тебе, а уж к Флорентийцу непременно. Ты, повторяю, свободен в своем решении. Ты можешь мне сейчас сказать, что желаешь остаться непричастным к этому делу, – и ты немедленно уедешь в К., – Али назвал крупный торговый город, – с письмом к моему другу, у которого ты проживешь недели две – три и вернешься в Петербург. Если же хочешь помогать мне бороться за жизнь брата – придется сказать свое решительное слово и начать действовать. Так закончил Али свой разговор со мной.

Глава IV

Превращение в дервиша

В моем сердце стало как-то ясно и тихо. Я ни минуты не тревожился, и даже волнение за судьбу брата перестало меня беспокоить. Присутствие Али, его мощь влили в меня уверенность и энергию.

Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и религию выбрать себе самостоятельно не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, который всю жизнь всем рабски повинует, – тем яснее становилось мне, что я не могу остаться равнодушным к судьбе хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа, с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский.

И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас с судьбою чужого народа, вторгшись в самую сердцевину его предрассудков, – тем сильнее сознавал, что нет случайностей, а есть целая сеть закономерных действий. Что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерно и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей воедино, как группы черных кленов и розовых магнолий.

Мое спокойствие не то что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видя мое молчание, Али прибавил:

– Не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту. Хотя, конечно, временем мы не располагаем; я ожидаю самого быстрого хода событий.

– Мой ответ готов, – сказал я. – Я так глубоко спокоен, решение мое так ясно, что я еще ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудного и чудного состояния духа, подобного мира в себе.

Я не только не колеблюсь, но мне даже не представляется возможным пойти другим путем, где бы мог я отделить себя от брата, от вас, от Флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, – он слил бы свою жизнь с вашей и пошел бы за вами. Мое решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами, я верен моему брату-отцу и буду отстаивать так же всеми силами его жизнь и счастье, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите.

– Твое спокойствие, друг, убеждает меня более всяких клятв и обещаний.

Вернемся в дом, там могут быть какие-нибудь новые вести.

С этими словами Али Мохаммед встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами.

Трепет какого-то восторга охватил меня, я точно потерял на миг сознание и пришел в себя уже в кедровой аллее, по которой мы шли, любясь сверканием озера на ярком солнце.

Аромат деревьев, чириканье птиц, треск цикад снова сопровождали нас.

Никогда еще я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факторы должны были бы задавить мой дух. А на самом деле, впервые среди величавого молчания природы, в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычные силу и чистоту, я понял какую-то иную, еще неведомую мне жизнь сердца. Я ощутил себя единицей этой беспредельной вселенной, среди которой я жил и дышал; и мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы отдельные ноты той симфонии вселенной, о которой говорил Али.

Я точно прозрел в какую-то глубь вещей, где все – революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, войны и ужасы стихий, – все вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей равенства и братства. К той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать все лучшее в себе на общее благо и получать то, что нужно каждому для его совершенствования и индивидуального счастья...

Я ушел в свои мысли, какая-то радость наполнила все мое существо, и я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али-молодым и Флорентийцем.

Обменявшись малозначащими фразами по поводу красот парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, который был накрыт для чаепития. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только успели мы выпить по чашке чая, как вошел слуга и тихо сказал несколько слов хозяину. Тот извинился перед нами и вышел.

Мы молча остались сидеть за столом. Каждый был погружен в свои думы, никого не стесняло это молчание. Все точно сосредоточилось в себе, готовясь, каждый по-своему, к грядущим событиям.

Лично я – казалось мне – точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сейчас я ощутил свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далекими и близкими, и оценивал жизнь по-новому, решая для себя вопрос, что значит свой или чужой и кто же это свой, а кто чужой.

По свойственной мне рассеянности мне казалось, что еще очень мало времени; но на самом деле прошло около часа.

Вошел слуга и сказал Али-молодому, что хозяин просит всех пройти к нему в кабинет. Мы встали. Флорентиец обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли на другую половину дома, которой я еще не видел.

Через ту же переднюю, в которую мы вошли с Флорентийцем, как только экипаж остановился у подъезда дома, мы попали в большую комнату, кабинет Али Мохаммеда. Мы увидели его за письменным столом, и у стола, в глубоком кресле, обитом ковровой тканью, сидел в желтом халате и в остроконечной шапке с лисьим хвостом дервиш.

Сюрпризы последних суток, должно быть, так разбили мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал. Но увидеть дервиша в кабинете Али – этого мои нервы не вынесли; я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него.

Али-молодой, взглянув на меня и поняв по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне:

– Не все, кто одет дервишем, – на самом деле дервиши. Это друг.

Я постарался взять себя в руки, стал пристально разглядывать мнимого дервиша. И еще раз устыдился своей невыдержанности, отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, что посмотрел в лицо этого человека и сосредоточил бы свое внимание на нем, а не на себе, мне не от чего было бы раздражаться. То был юноша не старше сидевшего рядом со мною Али Махмуда.

Темные глаза, мягко, как звезды, сверкавшие из-под нахлобученной шапки, прелестный нос, продолговатый овал лица и загорелые и огрубевшие, но прекрасной формы руки. Вся его фигура, несмотря на нищенский халат, дышала благородством. Большой ум читался на его лице, так и хотелось сбросить эту тяжелую и противную шапку, чтобы увидеть лоб, должно быть, лоб мыслителя.

Дервиш говорил на непонятном мне языке; и, к стыду своему, я даже не мог определить, что это за язык. Я знал, что мне расскажут, о чем шла речь, и отдался наблюдениям. Флорентиец сидел спиной к окну напротив молодого дервиша, на которого прямо падал свет. Хотя окно было занавешено легкой тканью цвета слоновой кости, света было совершенно достаточно, чтобы ни малейшее движение на лице незнакомца не ускользнуло от меня.

Поистине, он тоже был красавец. Выше среднего роста, широкий в плечах, он напоминал мне чем-то неуловимым моего брата. Лицо Али-старшего выражало такую серьезность, что мне снова вспомнились все грозящие брату беды, и снова острая боль пронзила сердце.

Незнакомец опять заговорил. Его голос, оригинальный, низкий, баритональный металлический, мог бы составить честь любому оперному певцу.

Он, очевидно, что-то предлагал. Все молчали, точно обдумывая его предложение, и наконец Али-старший, взглянув на меня, сказал:

– Прости, друг. Ты не понимаешь нашего языка, я вкратце объясню тебе суть дела. Мулла и жених, якобы на основании свидетельских показаний моих гостей, мальчиков и слуг, утверждают, что Наль похищена тем гостем на пиру, которому я посылал блюда со своего стола. Они говорят, что это был важный старик, хромой и седой, который вышел из-за стола как раз в тот момент, когда была похищена Наль. Мулла объявил, что здесь было колдовство, и обвиняет в нем меня и моего старого гостя, его повсюду ищут. Религиозный поход против меня уже объявлен. Две из построенных мною школ уже сровняли с землей. И каждой женщине, у которой найдут книги, будет объявлено отлучение. А это хуже смерти в здешних глухих и диких местах. Далее молва утверждает, что кто-то видел, как мой гость спрятался в доме твоего брата. Надо полагать, что дикая орда набросится на дом, быть может сожжет его, как и мой. Мне необходимо сейчас же поехать в город, чтобы спасти людей, оставшихся там, от верной гибели. Тебе же, вместе с Флорентийцем, следует отправиться на станцию железной дороги и постараться

добраться до Петербурга, чтобы там помочь нашим беглецам. Я не сомневаюсь, что за всеми нами идет слежка. Царское правительство не вмешивается в религиозные погромы, не видит и не слышит их, пока ему это удобно. Ни тебе, ни твоему брату не уйти живыми, если вас где-либо обнаружат. Всем известна наша дружба, и если изловят тебя – ты ответишь за всех. Этот друг предлагает тебе переодеться сейчас же в платье дервиша, а Флорентийцу – в обычное платье простого купца и уехать в вагоне третьего класса в Москву. По дороге сами уже будете соображать, как вам лучше спастись, я же буду посылать вам телеграммы до востребования на все узловые станции и оповещать о ходе событий. Не забывай, что тебе надо думать не о себе. Спасая свою жизнь, ты думай только о лишней паре рук и ног для защиты друга, брата-отца. Весь героизм сердца, вся сила мужества должны быть собраны, чтобы не выдать себя в опасные минуты ни одним растерянным взглядом или движением. Смотри прямо в глаза тем, кто тебе будет казаться подозрительным. Стань снова временно глухонемым и, со свойственным таким людям вниманием, смотри на рот говорящих. Это будет сбивать с толку преследователей. Времени остается мало. Али и новый друг помогут тебе переодеться, если ты захочешь принять это предложение. Я же передам Флорентийцу все нужное для вашего пути и условлюсь о телеграммах.

Он поднялся и вышел вместе с Флорентийцем, а Али-молодой и новый знакомец стали облачать меня в платье дервиша, на что я согласился без колебаний.

В довершение всех бед в дело снова пошла бесцветная жидкость. На этот раз уже все тело, смазанное ею, стало темным, а руки, ноги и лицо, покрытые слоем жидкости дважды, стали такими, словно их сожгло солнцем, как-то сморщились, и я стал выглядеть лет на сорок. Но теперь я не вздыхал по своей исчезнувшей юности и утраченной белизне. Дело шло не о маскараде, а о жизни дорогого мне брата и моей собственной, и я старался запомнить характерные жесты и манеры, которые мне показывал мой новый друг, мнимый дервиш.

Едва я кончил одеваться, как вошел Флорентиец. Его узнать было невозможно. Длинная черная борода, голубовато-серая чалма и пестрый ситцевый халат, подпоясанный платком, на ногах мягкие черные сапоги. Он имел вид средней руки торговца, отправляющегося за товарами. Его лицо и безукоризненные руки не уступали в черноте моим, а ногти и зубы были отвратительно грязны.

В прежнее время я бы покатылся с хохоту; но сейчас я принял все как должное, оценив его неузнаваемость.

– А шапку к голове вы ему приклеили? – спросил он. – Ведь может случиться, что кто-либо попытается сбить шапку с его головы.

Он достал из своего огромного кармана темную ермолку, натянул ее мне на голову так туго, что, казалось, сорвать ее можно было только вместе с кожей, и поверх, смазав внутреннюю сторону остроконечной шапки клейкой жидкостью, напаяли и ее на мою несчастную голову. Я едва держался на ногах, так было жарко; голову сжимало, стало тошнить.

Вошел Али-старший и, очевидно, понял мое состояние. Он вынул из стола коробочку, открыл ее и положил мне в рот белую пилюлю. Остальные, закрыв коробку, передал Флорентийцу.

– Лошади ждут по другую сторону озера, вы поедете оттуда, – сказал Али, – времени едва хватит доехать до станции.

Мы двинулись кратчайшим путем к озеру вдвоем с Флорентийцем, простившись наскоро с обоими Али и новым знакомым.

Подойдя к озеру, мы сели в лодку. Флорентиец быстро переправил ее на другую сторону, и через несколько минут мы увидели быстро катившую к нам простую бичку. Ни словом не обменявшись с возницей, мы сели в нее и покатали по направлению к вокзалу.

Вокзал от города был в верстах трех, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. В бичке мы обнаружили два узла из ситцевых платков и два убогих деревянных

сундучка. Флорентиец вел себя так, как будто никогда ничего кроме ситца не носил и об элегантных чемоданах понятия не имел.

Подъехав к вокзалу, мы соскочили с брички и очутились в густой толпе восточного люда, галдевшего и возбужденного. На нас не обратили никакого внимания, увидев простых, бедно одетых купца и монаха; а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих, побогаче одетых.

К нам подошел старик и предложил помочь нести узлы. Флорентиец передал ему мой узел и сундучок, взял свой под мышку, узел в руку, точно это были пакеты с ватой, сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал.

Там поджидал нас другой старик и подал Флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подкатил поезд.

Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье. На полу валялись кожура бананов и корки апельсинов, огрызки дынь и арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги.

Едва мы уселись, как на платформе поднялся шум, толпа, через которую мы прошли, ворвалась, галдя, на перрон. Размахивая руками, люди бросились мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон, куда ее не пускали. Начальник станции, жандарм, проводники – все были в один миг разбросаны. Несколько человек все-таки пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и перекликаясь.

Перепуганные, ничего не понимавшие немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики, жандармы и группа вооруженных солдат.

Толпа успела обшарить международный вагон, перебралась в первый класс; кое-кому удалось обежать и оба вагона второго класса. Но здесь их настиг жандармский офицер, зычным голосом он выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась, так и не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны на запасных путях, люди скрылись, точно их и не было. Впрочем, вероятно, их и не интересовали убогие вагоны; ища самого Али или кого-либо из близких ему, они не могли предположить, что искать следует в грязи и пыли третьего класса.

Поезд все еще стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал свое лицо большим пестрым платком, данным мне дервишем, и именно тем жестом, которому он меня обучил. Хотя я и был совершенно уверен, что нас узнать невозможно, но не мог не заметить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство.

Я выглянул на перрон и увидел, что к старику, несшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала, подошел мулла. Но как раз в эту минуту начальник станции махнул рукой, раздался оглушительный третий звонок, обер-кондуктор свистнул, ему ответил свисток паровоза, и наконец мы двинулись.

Не успели мы отъехать, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка, молодой сарт. Он часто и трудно дышал, очевидно, очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлепнулся рядом с нами. Я подумал, что вот-вот он упадет в обморок.

Поглядев на него, Флорентиец покачал головой и обратился к двум старым сартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из стариков встал и подал запыхавшемуся сарту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил ее жадно, но все не мог прийти в себя.

Наконец он несколько поуспокоился и спросил Флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собою мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто сел в поезд на этой станции.

– Как не заметить? Я сам сел, мой племянник сел, да ты сел, – ответил ему, смеясь, мой друг. – Нет, впрочем, ты не сел, ты прыгнул, – прибавил он, и в вагоне рассмеялись.

Молодой сарт уже совсем пришел в себя.

– От кого ты так убегаешь? Тебя преследуют царские власти? – спросил его Флорентиец.

– Нет, – ответил он, – я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянник едет в этом вагоне.

И он встал с места, обошел вагон, поблагодарил старика, давшего ему пить, и, поговорив с ним, опять вернулся к нам.

– Нет, – сказал он. – Здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу, а в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика.

Придется мне на повороте прыгнуть и караулить следующий поезд.

Флорентиец важно покачал головой, выражая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию прыгнуть с поезда на ходу.

Молодой сарт объяснял Флорентийцу и столпившейся вокруг нас кучке любопытных, что купец, которого он искал, – его благодетель, и если кто-либо скажет ему, кто сел на этой станции в поезд, кроме нас с Флорентийцем, то он сам и богатый купец-благодетель отблагодарит его.

Один из стариков сказал, что видел, как в последний вагон сели две женщины и молодой человек. Лицо сарта зажглось, точно факел сверкнул и отразил свое пламя в его глазах; он растолкал окружавшую нас кучку пассажиров и стремглав бросился в соседний вагон.

Прошло минут двадцать, он снова возвратился к нам; довольно постное выражение его физиономии говорило без слов, чем завершились его поиски. Его вторичное появление никого уже не заинтересовало; кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции.

Сарт снова сел возле Флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но Флорентиец успокоил его, показав ему на мои уши. Все же раза два еще он взглянул на меня подозрительно, но заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился.

Подумав, что толку все равно мало от моих наблюдений, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно.

Поезд шел быстро, очевидно машинист решил нагнать опоздание. Сколько мог охватить глаз – все шла безводная, голая степь. Ни деревца, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудной жизни народа, который выращивает чудесные фрукты, богатейшие виноградники и пышные цветы, искусственно орошая землю.

Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя воды. Очевидно, здесь снова начиналась сеть арыков, отчего вся местность резко изменилась. Замелькали сады кишляков, стали попадаться гигантские фиговые, ореховые и каштановые деревья.

Поезд еще немного замедлил ход, и вдруг я увидел сарта: артистически рассчитав свой прыжок, он исчез в глубоком овраге.

Надо сказать, он исчез вовремя. Не успел я повернуться к Флорентийцу, как открылась дверь вагона, вошли два кондуктора, спрашивая билеты. Флорентиец подал наши билеты, сходявшие на следующей станции отдали свои, кондукторы прошли дальше, и я надеялся, что Флорентиец мне теперь расскажет, о чем шептал ему сарт. Но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках.

Это был текст телеграммы до востребования, написанной по-русски в город С. купцу К., с извещением, что купец А. живет, – дальше стояло многоточие.

Я не понял, о чем эта записка в руках Флорентийца, хотя и сообразил, что дал ему ее выпрыгнувший из вагона сарт.

Через четверть часа мы остановились у следующей станции, но никто не сел в наш вагон. Флорентиец вынул из своего узла две книги, передал одну мне.

Его книга была написана на арабском языке, а та, что оказалась у меня, напоминала толстый затрепанный молитвенник, и шрифт ее был так же мне понятен, как и страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города.

Я улыбнулся и подивился тонкой наблюдательности того, кто собирал нас в путь. Какая же еще книга могла быть в руках у дервиша, как не потрепанный, издававший виды в бесконечных странствиях бездомного монаха молитвенник.

Какой-то богобоязненный старик принес мне дыню и кусок хлеба, другой протянул два куска сахара. Я еще раз мысленно поблагодарил человека, отдавшего мне свое платье дервиша, за преподанный урок поведения, приличествующего монаху. Флорентиец объяснял всем, что я глух, но святой жизни, и мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза долу, прикладывал руку к груди и несколько раз кивал головой, не глядя на тех, от кого получал подавание. Кое-кто, услышав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне даже деньги.

Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне все утихло. Флорентиец подложил мне под голову мой узел, оказавшийся мягким, заставил лечь, а сам сел у моих ног.

Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я от того, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя сознавал, что меня будят. Наконец, чьи-то сильные руки поставили меня на пол, и я вдохнул струю нашатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентиец стоял рядом со мною, оба сундучка наши были связаны и перекинuty через его плечо, один узел он держал под мышкой, тот, на котором я спал, он взял в руку, другой показал на дверь и подтолкнул меня к ней.

В вагоне было почти совсем темно. Кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари очень редко и высоко.

Спросонья я плохо соображал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем прыгать, как сарт, с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах; и я приходил в ужас от своего мешковатого платья, длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанная, вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка.

Мы бесшумно вышли на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы ее открыть.

– Рано еще, – сказал мне тихо, в самое ухо, Флорентиец.

– Так мы на всем ходу и будем прыгать? – спросил я его так же тихо.

– Прыгать? Зачем прыгать? – сказал он, смеясь. – Мы подъезжаем к большому городу, где живет мой друг. Сойдем на станции, возьмем извозчика и поедem к нему. Но пока я тебе не скажу, сохраняй полное внешнее безразличие дервиша и, кто бы ни обратился к тебе с вопросом, показывай на уши. Поезд замедляет ход. Сходи первым и подай мне руку. И ни на одну минуту не отходи от меня ни на станции, ни в доме моего друга, куда мы приедем. Так и держись, либо за мою руку, либо за пояс, как если бы ты был слепым и не мог передвигаться без моей помощи.

Поезд подходил к перрону скудно освещенной станции. Вокруг царилa ночь, и казалось, что на станции все замерло. Мелькнула красная фуражка дежурного, за нею рослая фигура жандарма – и поезд остановился.

Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего класса и вышли на крыльцо. Здесь к Флорентийцу подошел какой-то сарт и предложил довести до ближайшего кишлака. Флорентиец объяснил ему, что нам нужно в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался; ему было как раз по пути, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш.

Не тут-то было. Флорентиец начал яростно торговаться, как истый восточный купец. Он так и сыпал горохом слова, закатывал глаза и разводил руками вместе с возницей. Оба они гор-

ланили минут десять, наконец сарт вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого, казалось, и ждал Флорентиец.

Сложив руки и также воззвав к Аллаху, он выдвинул меня вперед, и возница увидел перед собою дервиша. Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к стоявшей тут же телеге. Мы взгромоздились на нее и поехали в город, который был в двух верстах от станции.

Глава V

Я в роли слуги-переводчика

Мы ехали, храня полное молчание. Возница пытался было задавать вопросы Флорентийцу, но получая односложные ответы, произнесенные сонным голосом, решил, что мы устали, должно быть, от долгого пути, и перенес свое внимание на лошадь.

Лошадка трусила по мягкой дороге. Тьма освещалась только мерцающими звездами, и мысли мои, точно замерзшие во время моего тяжелого сна в вагоне, вновь зашевелились. Мне еще не приходилось слушать молчание ночи в степи.

Снова – как и в парке Али – меня охватило чувство преклонения перед величием природы. Я смотрел на усыпанное звездами небо и разглядел впервые многие созвездия, о которых до сих пор только читал или слышал. Звезды не походили на наши северные. Они казались гораздо крупнее, точно лампы мерцали, и я наконец увидел воочию тот дрожащий свет звезд, о котором пишут поэты. Даже небо показалось мне более низким. Прорезанное широкой полосой Млечного Пути, оно сверкало контрастами полной тьмы и света.

Я вернулся мыслями к Али Мохаммеду. Опять меня пронзила радость от встречи с ним и мысль о красоте и гармонии природы, – я подумал о мощи любви и счастья, которыми щедро одаряет природа человека; о тех великих скорбях и слезах, которыми наполняет мир сам человек, неизменно оправдывая свои действия именем великого Творца: и будто бы в защиту Его отравляя мир жестокостью своего фанатизма.

Мерный стук копыт и покачивание тележки на мягкой дороге не усыпили меня: но внезапно среди ночи я почувствовал себя одиноким, несчастным и беспомощным... Но то было лишь мгновение слабости. Я вспомнил слова Али о том, что настало мое время выказать мужество и преданность. И волна бодрости, даже радости опять пробежала во мне. Я захотел немедленно вступить в борьбу не только за жизнь и счастье любимого брата и Наль, но и за всех страдающих по вине фанатиков, тех, кто считает свою религию единственной истиной, кто давит все живое, что рвется к свободе и знанию, к независимости в жизни...

Я прикоснулся к Флорентийцу, благодарно приник к нему и встретил его добрый, ласковый взгляд, который, казалось, говорил мне: «Нет одиночества для тех, кто любит человека и хочет отдать свои силы борьбе за его счастье»

Мы уже въезжали в город. Окраины его напоминали сплошной сад, но и центр города оказался таким же. Ночь была уже не так темна, в кольце зеленых улиц вырисовывался гигантский силуэт мечети, показались торговые ряды.

Флорентиец приказал вознице остановиться, мы сошли, рассчитались с ним и отправились вдоль рядов, кое-где охраняемых ночными сторожами. Раза два мы свернули в тихие, спавшие улицы и наконец остановились у небольшого дома с садом. На стук Флорентийца не сразу открылась калитка, и дворник удивленно оглядел нас. Флорентиец спросил его по-русски, дома ли хозяин. Оказалось, хозяин только что вернулся домой и даже еще не ужинал, хотя сказал, что очень голоден.

Флорентиец попросил передать хозяину, что нас прислал лорд Бенедикт и мы просим принять нас, если можно, тотчас же. Монета, скользнувшая незаметно в руку дворника, сделала его намного любезнее. Он впустил нас в сад и побегал доложить о нас хозяину. Мы остались одни. Пока мы ожидали в темноте сада, Флорентиец осторожно просунул палец под мою

ватную шапочку и ловко стащил ее с меня; почти мгновенно оторвав ее от дервишской шапки, он снова надел шапку мне на голову.

То, что я почувствовал, когда освободился от ватного бинта на голове, не поддается описанию. Я хотел громко закричать от радости, но опасаясь выдать себя, промолчал, раза два все же подпрыгнув на месте.

– Какой там Лордиктов? Вечно все перепутаешь! – донесся до нас голос.

Я было подумал, что где-то уже слышал этот особенный голос, но не мог себе уяснить, где и когда.

– Помни же, ты все еще глух, пока не скажу, – шепнул Флорентиец.

Дворник вернулся и пригласил нас подняться на веранду. Мы пошли за ним и увидели, что на веранде горит свет. Но зелень – вся в крупных, висящих гроздьями цветах – сплеталась в такой густой покров, что света из сада не было видно.

Мы поднялись на веранду. Слуга, почти мальчик, хлопотал у стола, внося накрытые тарелками блюда, фрукты.

Флорентиец сложил наши вещи в углу, и мы сели на деревянный диванчик.

Слуга несколько раз входил и выходил, каждый раз весьма недружелюбно, даже презрительно поглядывая на нас. Наконец он сказал Флорентийцу довольно небрежно, что хозяин ждет нас в кабинете. Оставив рядом с вещами наши кожаные калоши, мы прошли в большую комнату, соединенную с террасой коридором. В комнате стояли рояль, мягкая мебель, но пол был голым, в противоположность дому Али, где ноги, куда ни ступи, утопали в коврах.

Мы пересекли комнату и подошли к закрытой двери, из-под которой пробивался свет. Тут Флорентиец отстранил слугу, крепко взял меня за руку, как бы напоминая лишний раз, что я глухой, и постучал в дверь особым манером.

Дверь быстро отворилась, и ... хорошо, что Флорентиец держал меня крепко за руку, не то бы я обязательно забыл обо всем на свете и закричал.

Перед нами стоял не кто иной, как тот незнакомец, который дал мне свое платье в кабинете Али. Флорентиец низко поклонился хозяину, потянул и меня вниз. Я понял, что должен кланяться еще ниже, и выпрямился только тогда, когда та же рука-наставница подала мне знак.

Флорентиец что-то быстро сказал хозяину, тот кивнул головой, придвинул нам низкие пуфы и приказал слуге что-то, чего я не понял. На физиономии того отразилось сначала огромное удивление, но под взглядом хозяина он почтительно поклонился и бесшумно исчез, закрыв дверь.

Тут только хозяин протянул нам руку, улыбнулся, и взгляд его стал менее строгим. Это прекрасное лицо носило отпечаток усталости и скорби.

– Разве вы не узнали моего голоса? – мягко улыбаясь и держа мою руку в своей, сказал наш хозяин. – А я специально для вас сказал громко несколько слов дворнику, чтобы вы не так удивились. Вы ведь очень музыкальны, это видно по вашему лбу и скулам.

Я хотел было сказать, что запомнил оригинальный тембр его голоса, но никак не ожидал услышать его в этом саду. Я начал говорить, ощущая страшную усталость, но вдруг все поплыло перед моими глазами, вся комната завертелась, и я погрузился во тьму...

Долго ли продолжался мой обморок, не знаю. Но очнулся я от приятной свежести в голове и ощущения чего-то прохладного на сердце. Флорентиец подавал мне питье, и как только я сделал несколько глотков, заставил проглотить одну из пилюль, данных нам Али Мохаммедом. Очень скоро мне стало лучше, я снова овладел собой и твердо сидел на низком стуле. Хозяин быстро писал какое-то письмо. Флорентиец снял с моего сердца и с головы холодные компрессы и шепнул:

– Скоро пойдем отдыхать, мужайся.

Но теперь я готов был ехать дальше; откуда-то появились силы, точно я окунулся в прохладный бассейн.

Окончив письмо, хозяин позвонил и приказал вошедшему слуге немедленно отнести его по адресу и дожидаться ответа. Должно быть, место, куда посылали слугу, ему не очень нравилось. Он хотел что-то возразить, но встретив пристальный строгий взгляд хозяина, низко поклонился и вышел.

Вслед за ним вышли и мы на веранду. Вымыли руки под умывальником. Светлей они, правда, не стали, и я со вздохом подумал, как надоели мне грим, чужой костюм и все приключения, отдающие запахом сказок из «Тысячи и одной ночи».

Усевшись за стол, мы принялись за еду, состоявшую из овощей, фруктов, прохладительных морсов и нескольких сортов хлеба. Все было вкусно, но есть мне не хотелось. Да и старшие мои друзья ели мало.

– Я написал письмо на языке слуги, потому что уверен, что письмо это он и сам прочтет и мулле отнесет. Весть об Али и религиозном походе против него уже докатилась сюда. В письме к своему знакомому торговцу я пишу, что завтра к вечеру мой друг купец приедет к нему покупать ослов. Пусть составит он также гурт скота, который может быть куплен моим приятелем. Здешний мулла, прикрываясь именем этого торговца, ведет крупную торговлю ослами и скотом.

Весь день он, конечно, будет занят распоряжениями, куда и как перегнать скот и какую взять цену. Только вечером он займется делами, связанными с походом на Али. Живет этот торговец довольно далеко, и у нас есть не меньше трех часов. Но за это время вам обоим надо переодеться, снова стать европейцами и отправиться назад в К. Там вы пересядете в международный вагон встречного поезда и, надо надеяться, благополучно доедете до Москвы. Не миновать вам опять маскарада, – обратился он ко мне. – Вам придется стать слугой-гидом лорда Бенедикта, ни слова не знающего по-русски. Теперь ярмарка в К., и вы встретите в поезде иностранцев, направляющихся за каракулем, коврами и хлопком, который они покупают на корню. Присутствие лорда Бенедикта среди иностранцев будет естественно. Кроме того, по вашим следам уже гонятся; кто-то выдал, что вы одеты дервишем. Я верю, что ни на момент в вашем сердце не было и нет страха, но действовать надо не только бесстрашно, но и целесообразно. Пойдемте в мою спальню. Я постараюсь помочь вам обоим одеться сообразно ролям и умыться.

Уже светало; мы встали из-за стола и прошли в спальню нашего хозяина. Это была чудесная белая комната. Очень простая, но изящная мебель, обитая светло-серым шелком, пушистый светлый ковер, но... рассматривать было некогда.

Отодвинув раздвижную, как в вагоне, дверь, хозяин подошел к ванне, влил в нее какой-то жидкости, отчего вода точно закипела. И когда вода успокоилась, сказал:

– Весь грим с вашего тела сойдет. Вы выйдете из воды белым юношей. Здесь мыло, щетки и все, что вам может понадобиться, – и с этими словами он меня покинул.

Я быстро разделся и погрузился в ванну, с необычайным наслаждением чувствуя, как с меня, точно кожа, слезает вся чернота и грязь пути. Я слышал, как шумели струи текущей воды где-то рядом со мной; это, очевидно, полоскался под душем Флорентиец.

Помывшись, я растер тело купальной простыней и стал думать, во что же мне теперь одеться. Раздался легкий стук в дверь, и вошел Флорентиец. Он тоже был укутан в купальную простыню, весело улыбался, и я снова поддался очарованию этой дивной красоты, обаянию этого любящего, доброго человека, к которому все сильнее привязывался.

– Пойдем выбирать туалеты, – весело сказал он, и мы двинулись в спальню хозяина.

Я еще не сказал, каким нашел я теперь моего мнимого дервиша. Он был в легком сером костюме, прекрасно сидевшем на нем, в белой шелковой рубашке-апах и белых полотняных туфлях. Я не мог его не узнать. Его глаза-звезды имели какое-то особенное выражение мудрости и огня, ему одному свойственное, как и неповторимый тембр его голоса. Рот с вырезанной, точно резцом ваятеля, верхней губой говорил об огромном темпераменте. А лоб, высокий,

благородный лоб мудреца был так сильно развит в выпуклой надбровной части, что казалось, вся мысль сосредоточивалась именно здесь, как это часто бывает у крупных композиторов.

Пока мы выбирали одежду, наш хозяин рассказывал о своем путешествии и о делах Али. Али поехал к себе, чтобы остаться там и защитить домочадцев или вывезти их куда-нибудь. Но какова судьба Али сейчас, об этом он ничего еще не знал. Он сказал нам, что со следующим поездом сам выедет в Петербург, чтобы приготовить нам квартиру и собрать сведения о брате. Сказал еще, что один из мужчин, поехавших с Наль в роли слуги, ее старый дядя, человек опытный, верный и очень образованный.

Говоря все это, он помогал мне надевать костюм юноши-слуги. Коричневая куртка с серебряными пуговицами, такие же длинные брюки и кепи с серебряным галуном. Конечно, я не блистал красою, но теперь, расставшись с облищем черномазого, грязного дервиша, я казался себе просто красавцем.

Флорентиец надел костюм из синей чесучи, белую шелковую сорочку и завязал бантом серый шелковый галстук. Положительно, во всем он был хорош, казалось, лучше быть нельзя. Он беспощадно прилизал свои волнистые волосы, уложив их на пробор ото лба до самой шеи, надел пенсне, – и все же оставался красавцем.

Время бежало; стало совсем светло. Мы услышали фыркание лошадей, и дворник закричал в окно, что лошади готовы. Хозяин подошел к окну и сказал тихо дворнику:

– Сходи к соседу; если он уже ушел в лавку, то беги к нему туда, в ряды. Напомни, что он обещал доставить сегодня тетке два халата и ковер. Я же по дороге на станцию отвезу моих ночных гостей на скотский рынок. Если они вечером снова захотят ночевать у меня, ты ихпусти.

Дворник побежал выполнять поручение, а мы убрали с веранды наши вещи, которые оказались просто бутафорией. Мы бросили пустые сундучки, вынув из них по несколько книг, а узлы, в которых оказались подушки, развязали и сунули платки в шкаф.

Через минуту мы вышли. Я нес легкое пальто моего барина, учась играть роль слуги, помог моему господину сесть на заднее сиденье, а сам сел на скамеечку впереди. Хозяин устроился на козлах, подобрал вожжи, мы выехали из ворот – я соскочил их закрыть – и покатили к вокзалу.

Город еще не просыпался. Кое-где дежурные сарты хлопотали у арыков, так как вода в оросительных системах все время должна менять направление, и за этим строго следят особо приставленные люди, пуская воду по очереди то в Хиву, то в Бухару, то в Самарканд.

Теперь мы ехали быстро. Но все же я мог хорошо различать и дома, и сады.

Торговые ряды были совсем иные, чем в К. Они не напоминали багдадского рынка, а скорее были похожи на громадные амбары; но стиль их все же был не европейский. Огромное количество лавок говорило о богатстве города. Я весь ушел в свои наблюдения. Движение становилось все оживленнее, и когда мы выехали за город, это зрелище захватило меня своей необычайной красочностью.

Я еще не видел больших верблюжьих караванов; а здесь, с нескольких сторон, медленно и мерно покачивая груз на своих горбах, двигались к городу караваны. Каждый караван вел маленький ослик, на котором часто сидел погонщик. Все ведущие к шоссе дороги были забиты осликами, нагруженными фруктами, овощами, птицей и всевозможными предметами обихода, – и все это тянулось на базар в огромном облаке пыли, тесно прижатое друг к другу.

Вдали сверкали снежные горы. Небо – местами алое, местами фиолетовое и зеленое, и ярко-синее над нами; прохладный ветерок от быстрой езды, – и я снова воскликнул:

– О, как прекрасна жизнь!

Восклицание это явилось полной неожиданностью для моих спутников, углубленных в разговор, и оба они удивленно на меня посмотрели. Но увидев мою восхищенную физиономию, громко рассмеялись. Я тоже залился смехом.

Мы были уже недалеко от вокзала, и мой барин, лорд Бенедикт, сказал мне по-английски: – Хороший слуга всегда серьезен. Он никогда не вмешивается в разговор барина, ничем не выдает своего присутствия и только отвечает на задаваемые ему вопросы. Он вроде как глух и нем, пока барину не понадобятся его речь и услуги.

Тон его был совершенно серьезен, но глаза превесело смеялись. Я сдержал смех, поднес руку к козырьку и ответил весьма серьезно, тоже поанглийски:

– Есть, ваша светлость!

– Мы подъезжаем к станции, – продолжал лорд. – Вот вам бумажник. Вы прежде нас сойдете и отправитесь в кассу. Возьмете два билета в международном вагоне. Мы же медленно выйдем прямо на перрон и там встретимся. Поезд подойдет очень скоро. Если не будет мест в международном, возьмите в первом классе.

Я взял бумажник, выпрыгнул из коляски, как только она остановилась, и побежал в кассу.

Купив билеты, я нашел своего барина на перроне и доложил, что билеты в международный приобрел. Он важно кивнул мне на носильщика, державшего два элегантных чемодана. Я не мог понять, каким образом чемоданы катались при нас, и только потом сообразил, что, вероятно, они уже были привязаны к коляске, когда мы в нее садились.

«Вот новая забота мне», – подумал я. Я не знал, как поступить с бумажником и билетами, но так как показался поезд, я сунул бумажник во внутренний карман куртки.

– В международный, – бросил я небрежно носильщику, и он пошел к самому концу платформы.

Как только поезд остановился, я подал проводнику билеты, и мы заняли наши места, оказавшиеся маленьким двухместным купе. Я разместил вещи и отпустил носильщика. Проводник быстро подмел и без того чистый пол и вытер пыль в нашем купе, должно быть, судя по слуге о возможной щедрости барина. Я выскочил на платформу доложить, что все готово.

Раздался второй звонок. Лорд Бенедикт и его спутник медленно пошли к вагону, и с третьим звонком милейший лорд лениво занес ногу на ступеньку.

Мне так и хотелось его подтолкнуть сзади, никак я не мог взять в толк его медлительность.

Наконец он вошел в вагон и что-то еще сказал своему остающемуся другу.

Тут раздался свисток паровоза, и я уже не стал ждать, пока мой барин соизволит пройти дальше, поклонился любезному нашему хозяину и юркнул в вагон трогавшегося поезда.

Только когда наш хозяин совсем исчез из виду, лорд повернулся и прошел в купе. Проводник обратился к нему с вопросом, он сделал непонимающее лицо и поглядел на меня.

– Мой барин – англичанин, – сказал я очень вежливо проводнику, – и ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего английского. А я его переводчик.

Проводник еще раз спросил, нужен ли нам чай. Я перевел вопрос лорду, и проводник получил заказ на чай, бисквиты и две плитки шоколада. Кроме того, я дал ему крупную бумажку и попросил сходить в вагон-ресторан и купить нам лучшую дыню, яблок и груш. Уверившись, очевидно, в том, что от лорда можно ожидать чаевых, проводник обещал купить фрукты на следующей станции, которая славится ими. Через несколько минут он подал нам чай с лимоном, бисквиты и шоколад, закрыл дверь, и мы остались одни.

Несмотря на спущенные темные занавески на окнах и работавший у потолка вентилятор, жара и духота в вагоне стояли адские. Я снял кепи и благословил свою прохладную курточку. Материя была плотная, но оказалась легкой, вроде китайского шелка. Мой лорд снял пиджак, улегся на диван, причем ноги его свешивались вниз, и сказал:

– Друг, я очень устал. Если ты чувствуешь себя в силах, покарауль мой сон часа два-три. Если к тому времени не проснусь, разбуди меня обязательно.

Теперь не удастся поспать – потом, пожалуй, и не получится. А сил нам с тобой потребуются еще много. Не огорчайся, что мы с тобой обо всем не переговорили. Как только я встану,

мы поедем, и ляжешь ты. Раскрой маленький чемоданчик, в нем ты найдешь кое-что, что забыл в доме Али и что тебе, заботливо осмотрев твоё платье, посылает молодой Али. Эти чемоданы привез нам друг, у которого мы только что были.

С этими словами он повернулся к стене и сразу заснул. Я вышел посидеть с книгой в коридоре на скамейке против нашего купе, чтобы стуком проводник не нарушил сон Флорентийца.

Пассажиры надели кто кепи, кто панаму, кто английский шлем «здравствуй и прощай», как окрестили в России этот головной убор с двумя козырьками, а кто и просто с непокрытой головой вышел на площадку вагона. Поезд подошел к перрону и остановился.

Я открыл окно и стал смотреть на толпу... Здесь было гораздо оживленнее, чем на виденных мною прежде станциях. Торговцы с большими корзинами фруктов сновали по перрону. Мелькали укутанные фигуры женщин, державшихся группками, но я никак не мог определить, зачем они здесь. Они не торговали, а как будто без толку переходили с места на место, ни словом не обмолвись друг с другом.

Важные сарты, разных состояний и возрастов, стоявшие кучками, пялили глаза на едущую публику. Евреи – в своеобразных кафтанах и черных шапочках, – шумные, нетерпеливые, составляли резкий контраст со степенными восточными фигурами.

Пассажиры вскоре возвратились в вагон, нагруженные фруктами. Мне казалось, что их покупки очень хороши. Но когда поезд тронулся, ко мне подошел проводник и подал корзину фруктов. Он весело подмигивал в сторону жевавших яблоки пассажиров, а я, взглянув на свою корзину, понял, что такое настоящие восточные фрукты. Громадные, какие-то плоские яблоки, яблоки прозрачные, продолговатые, в них просвечивали насквозь все косточки, и груши, желтые, как янтарь, и две небольшие дыни, от которых исходил аромат головокружительный, и чудные белые и синие сливы.

– Вот это фрукты! – сказал мне проводник. – Надо знать, как купить и кому продать. У меня тут есть приятель. Каждый раз, когда я проезжаю, он мне приготовляет две такие корзины.

Я восхитился его приятелем, выращивающим такие фрукты, поблагодарил проводника за труды, щедро заплатив ему от имени барина, и угостил его одним яблоком.

Он остался очень доволен всеми формами моей благодарности, облокотился о стенку и стал есть свое яблоко. А я уплетал сочную, божественную грушу, боясь пролить хоть каплю ее обильного сока! Проводник пригласил меня в свое купе, но я сказал, что барин мой очень строг, что, по незнанию языков, он без меня не может обходиться ни минуты и что теперь я передам ему фрукты, и мы с ним ляжем спать. На его вопрос о завтраке и обеде я ответил, что барин мой очень важный лорд и что лорды иначе, чем по карточке отдельных заказов, не обедают.

Я простился с проводником, еще раз его поблагодарил и вошел в свое купе.

Я старался двигаться как можно тише, но вскоре обнаружил, что Флорентиец спит совершенно мертвым сном; и если бы я даже приложил все старания к тому, чтобы его сейчас разбудить, то вряд ли успел бы в этом нелегком деле.

Все мускулы тела его были совершенно расслаблены, как это бывает у отдыхающих животных, а дыхание было так тихо, что я его вовсе не слышал.

«Ну и ну, – подумал я. – Эта дурацкая ватная шапка да дервишский колпак, кажется, повредили мне слух. Я всегда так тонко слышал, а сейчас даже не улавливаю дыхания спящего человека!»

Я протер уши носовым платком, наклонился к самому лицу Флорентийца и все равно ничего не услышал.

Огорченный таким явным ухудшением слуха, я вздохнул и полез за маленьким чемоданом.

Глава VI

Мы не доезжаем до К

В вагоне было так темно, что я сделал маленькую шелку, чуть приподняв шторку на окне, уселся возле столика и попробовал открыть чемоданчик. Ключа нигде не было видно, но повертев во все стороны замки, я все же его открыл, хотя и не без некоторого количества проклятий. Сверху лежали аккуратно завернутые коробочки с винными ягодами, сушеными прессованными абрикосами и финиками. Я вынул их и под несколькими листами белой бумаги нашел письмо на мое имя, и почерк его был мне незнаком.

Я уже не боялся шелестеть бумагой, так как Флорентиец продолжал спать своим смертоподобным сном. Я разорвал конверт и прежде всего взглянул на подпись. Внизу было четко написано: «Али Махмуд».

Письмо было недлинное, начиналось обычным восточным приветствием: «Брат».

Али молодой писал, что посылает забытые мною в студенческой куртке вещи, а также белье и костюм, которые мне, вероятно, пригодятся и которые я найду в большом чемодане. Прося меня принять от души посылаемое в подарок, он прибавлял, что в чемодане я найду все необходимые письменные принадлежности и немного денег, лично ему принадлежащих, которыми он братски делится со мной. В другом же отделении сложены только женские вещи, деньги и письмо, которые он просит передать Наль при первом же моем свидании с нею, когда и где бы это свидание ни состоялось.

Далее он писал, что Али Мохаммед посылает мне тоже посылочку, которую я найду среди носовых платков. Али молодой очень просил меня не смущаться финансовым вопросом, говоря, что вскоре увидимся и, возможно, обменяемся ролями.

Я был очень тронут такой заботой и ласковым тоном письма. Подперев голову рукой, я стал думать об Али, его жизни и той трещине, которая образовалась сейчас в его сердце, в его любви. Фиолетово-синие глаза Али молодого, его тонкая фигура, такая худая и тонкая, что можно было принять ее за девичью, походка легкая и плавная, – все представилось мне необыкновенно ясно и было полно очарования. Я не сомневался, что он хорошо образован. А подле такой огненной фигуры, как Али старший, мудрость которого светилась в каждом взгляде и слове, – вряд ли мог жить и пользоваться его полным доверием неумный и неблагородный человек.

Я подумал, что всю жизнь мальчик Али прожил в атмосфере борьбы и труда за дело освобождения своего народа. И, вероятно, в его представлении жизнь человека и была ничем иным, как трудом и борьбой, которые стояли на первом плане, а жизнь личная была жизнью номер два. Я не мог решить, сколько же ему лет, но знал, что он гораздо старше Наль. На вид он был так юн, что нельзя было ему дать больше семнадцати лет.

Я снова перечел его письмо; но и на этот раз не понял, какие вещи мог отыскать Али в моем платье. Я заглянул снова в чемодан, хотел было поискать, где лежат носовые платки, но приподняв случайно какое-то полотенце, вскрикнул от изумления: в полутьме вагона сверкнуло что-то, и я узнал дивного павлина на записной книжке брата.

Только теперь я вспомнил, как мы перебирали туалетный стол брата и я сунул эту вещь в карман. Я вынул книжку и стал рассматривать ювелирную чудо-работу. Чем дольше я смотрел на нее, тем больше поражался тонкому и изящному вкусу мастера. Распущенный хвост павлина благодаря игре камней казался живым, точно шевелился; голова, шея и туловище из белой эмали поражали пропорциональностью и гармонией форм. Птица жила!

«Как надо любить свое дело! Знать анатомию птицы, чтобы изобразить ее такою», – подумал я. И какая-то горькая мысль, что мне уже двадцать лет, а я ничего – ни в одной области

– не знаю настолько, чтобы создать что-нибудь для украшения или облегчения жизни людей, пронеслась в моей голове.

Я все держал книжку перед собой, и мне захотелось узнать ее историю. Была ли она куплена братом? Но я тотчас же отверг эту мысль, так как брат не мог бы купить себе столь ценную вещь. Был ли это подарок? Кто дал его брату?

Уносясь мыслями в жизнь брата, – такой короткий и сокровенный кусочек которой я вдруг узнал, – я связал фигуру павлина с тем украшением на чалме Али Мохаммеда, которое было на ней во время пира. То был тоже павлин, совершенно белый, из одних крупных бриллиантов. «Вероятно, павлин является эмблемой чего-либо», – соображал я. Жгучее любопытство разбирало меня. Я уже был готов открыть книжку, чтобы прочесть, что писал брат; но мысль о порядочности, в которой он меня воспитывал, остановила меня. Я поцеловал книжку и осторожно положил ее на место.

«Нет, – думал я, – если у тебя, брата-отца, есть тайны от меня, – я их не прочту, пока ты жив. Лишь если жизнь навсегда разлучит нас и мне так и не суждено будет передать тебе в руки твое сокровище, – я его вскрою. Пока же есть надежда тебя увидеть – я буду верным стражем твоему павлину».

Жара становилась невыносимой. Я съел еще одну сочную грушу и решил отыскать посылочку Али Мохаммеда. Вскоре я нашел стопку великолепных носовых платков, и между ними лежал конверт, в котором прощупывалось что-то твердое, квадратное.

Я вскрыл конверт и чуть не вскрикнул от восхищения и изумления. Внутри находилась коробочка с изображением белого павлина с распущенным хвостом. Не из драгоценных камней была фигурка павлина, а из гладкой эмали и золота с точным подражанием расцветке хвоста живого павлина. Коробочка была черная, и края ее были унизаны мелкими ровными жемчужинами.

Я ее открыл; внутри она была золотая, и в ней лежало много мелких белых шариков, вроде мятных лепешек. Я закрыл коробочку и стал читать письмо.

Оно меня поразило лаконичностью, силой выражения и необыкновенным спокойствием. Я его храню и поныне, хотя Али Мохаммеда не видел уже лет двадцать, с тех пор, как он уехал на свою родину.

«Мой сын, – начиналось письмо, – ты выбрал добровольно свой путь. И этот путь – твои любовь и верность тому, кого ты сам признал братом-отцом. Не поддавайся сомнениям и колебаниям. Не разбивай своего дела отрицанием или унынием. Бодро, легко, весело будь готов к любому испытанию и неси радость всему окружающему. Ты пошел по дороге труда и борьбы – утверждай же, всегда утверждай, а не отрицай. Никогда не думай: «не достигну», но думай: «дойду».

Не говори себе: «не могу», но улыбнись детскости этого слова и скажи: «превозмогу». Я посылаю тебе конфеты. Они обладают свойством бодрящим. И когда тебе будет необходимо собрать все свои силы или тебя будет одолевать сон, особенно в душных помещениях или при качке, – проглоти одну из этих конфет. Не злоупотребляй ими. Но если кто-либо из друзей, а особенно твой теперешний спутник, попросит тебя покараулить его сон, а тебя будет одолевать изнеможение, вспомни о моих конфетах. Будь всегда бдительно внимателен. Люби людей и не суди их. Но помни также, что враг зол, не дремлет и всюду захочет воспользоваться твоей растерянностью и невниманием.

Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живет не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах простого и серого дня. Жму твою руку. Прими мое пожатие бодрости и энергии... Если когда-либо ты потеряешь мир

в сердце – вспомни обо мне. И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей».

Письмо было подписано одной буквой «М». Я понял, что это значило «Мохаммед».

С того момента, как я оказался в вагоне, прошло, вероятно, уже часа два, если не больше. Жара, казалось мне, достигла своего предела. Я снял курточку, расстегнул ворот рубашки и все же чувствовал, что не могу удержать слипающихся век и вот-вот упаду в обморок. Я посмотрел на Флорентийца. Он все так же мертво спал. Мне ничего не оставалось, как попробовать действие конфет Али Мохаммеда.

Я открыл коробочку, вынул одну из конфет и начал ее сосать. Сначала я ничего особенного не ощутил; меня все так же клонило ко сну. Но через некоторое время я почувствовал как бы легкий холодок; точно по всем нервам прошел какой-то трепет, желание спать улетучилось, я стал бодр и свеж, точно после душа.

Я принялся рассматривать содержимое той части чемодана, где были вещи для меня. Я нашел туго набитый деньгами бумажник; нашел очаровательные приборы для умывания и для письма. Полюбовавшись всем этим, я привел все в порядок и закрыл чемодан, не прикоснувшись к тому отделению, где были вещи, предназначенные для Наль.

Только что я хотел приняться за чтение книги, как в дверь купе слегка постучали. Я приоткрыл ее и увидел в коридоре высокого господина, по виду коммерсанта. Он спросил меня по-французски, не желает ли кто-либо в нашем купе развлечься от скуки партией в винт. Я отвечал, что я слуга-переводчик, в винт играть не умею. А барин мой англичанин, ни слова не понимает ни по-русски, ни по-французски. И что я ни разу не видел в его руках карт.

Посетитель извинился за беспокойство и исчез.

Быть может, все происходило самым обычным и естественным образом. И вагонный спутник был из тех многочисленных картежников, что способны и день и ночь просиживать за карточным столом. Но моей расстроенной за последние дни калейдоскопом сменяющихся событий фантазии уже мерещился соглядатай; и я невольно задавал себе вопрос: не такой же ли он коммерсант, как я слуга.

«Положительно, – думал я, – не хватает только очутиться нам на необитаемом острове и найти покровителя вроде капитана Немо. Живу, точно в сказке».

Я очень был бы рад, если бы Флорентиец бодрствовал. Мне становилось несносным это долгое вынужденное молчание под единственный аккомпанемент скрипящих на все лады стенок вагона и мерного стука колес.

Я еще раз прочел письмо Али-старшего. Я представил себе его огненные глаза и его высокую фигуру. Мысленно поблагодарил его не только за живительные конфеты, но и за не менее живительные слова письма. Я погладил рукой своего очаровательного павлина на коробочке и положил ее, как лучшего друга, во внутренний карман курточки, накинув ее себе на плечи.

Я уже не ощущал давления в висках, пульс мой был ровен; я взял книгу и решил почитать.

Приподняв выше штормку, я посмотрел на местность, по которой мы сейчас ехали. Это снова была голодная степь; очевидно, здесь не было никакого орошения. Жгучее солнце и сожженная голая земля – вот и весь ландшафт, насколько хватало глаз.

«Да – это край, забытый милосердием жизни, – подумал я. – Должно быть, люди здесь любят строить голубые купола мечетей и пестро изукрашивать их стены, предпочитают яркие краски в одеждах и коврах, чтобы вознаградить себя за эту голую землю, за эту желтую пыль, в которой верблюд бредет, утопая в ней по колено».

Поезд шел не особенно быстро, остановки были редки. Я начал читать свою книгу. Постепенно фабула романа меня захватила, я увлекся, забыл обо всем и читал, вероятно, не менее двух часов, так как почувствовал, что у меня затекли руки и ноги.

Я встал и начал их растирать. Вскоре тело Флорентийца как-то странно вздрогнуло, он потянулся, глубоко вздохнул и сразу – как резиновый – сел.

– Ну вот я и выспался, – сказал он. – Очень тебе благодарен, что ты меня караулил. Я вижу, что ты сторож надежный, – засмеялся он, сверкая белыми зубами и вспыхивающими юмором глазами. – Но почему ты меня не разбудил раньше? Я спал, должно быть, больше четырех часов, – продолжал он, все смеясь.

Я же стоял, выпучив глаза, и не мог сказать ни слова, до того он меня поразил своим пробуждением.

– В жизни не видал таких чудных людей, как вы, – сказал я ему. – Спите вы, как мертвый, а просыпаетесь, словно кошка, почуявшая во сне мышшь.

Разбудить вас? Да ведь я же не гигант, чтобы поставить вас на ноги, как это вы проделали со мной; если бы я тряс вас даже так, чтобы душу из себя вытрясти, то вряд ли все же добудился бы.

Флорентиец расхохотался, его смешили и моя физиономия, и моя досада.

– Ну, давай мириться, – сказал он. – Если я тебя обидел, что сплю на свой манер, а не так, как полагается по хорошему тону, то, пожалуй, и ты подобрал мне сравнение не очень лестное, что не подобает доброму слуге важного барина. Уж сказал бы хоть «тигр», а то не угодно ли «кошка». – С этими словами он встал, посмотрел на фрукты и сказал: – Ну и молодец же ты! Вот так фрукты! Можно подумать, ты их стащил в Калифорнии!

– Ну, в Калифорнию я сбегать не успел; а проводнику щедро за них заплатил, – ответил я. – Во время вашего сна приходил сосед – вроде французского комми – и приглашал вас играть в винт.

Флорентиец ел дыню, кивая на мой доклад головой, и вдруг увидел письма обоих Али, которые я оставил на столе.

Я прочел ему оба. Он спросил, куда я спрятал коробочку, и, когда я показал на внутренний карман куртки, произнес:

– Нет, не годится. В моих брюках, с внутренней стороны справа, есть глубокий потайной кожаный карман. Положи ее туда.

Я нащупал справа, у самой талии, карман и переложил туда коробочку.

Флорентиец наклонился к окошку, оглядел местность и сказал:

– Скоро подъедем к большой станции. Видишь там вдали деревья – это уже станция. Тебе надо будет выйти размять ноги и купить газет. Возьми все, какие найдутся, местные тоже.

Я накинул курточку, спрятал письма в книгу и приготовился идти.

– Подожди, письма ты хочешь сохранить? – спросил Флорентиец.

– Непременно, – ответил я.

– Тогда убери их в чемодан. И не только теперь – когда мы можем быть выслежены, – но никогда и нигде не оставляй писем не спрятанными надежно. А самое лучшее, держи все в голове и сердце, а не на бумаге.

Я спрятал письма и вышел, так как поезд уже замедлил ход и подходил к перрону.

– Спроси на всякий случай, нет ли телеграммы до востребования лорду Бенедикту, – сказал мне вдогонку Флорентиец.

Я поднес руку к козырьку фуражки и вышел, торопясь, как усердный слуга, выполнить приказание барина. Встретясь с проводником, я спросил его, где купить газеты и журналы, в какой стороне перрона телеграф и долго ли здесь стоит поезд. Проводник все мне подробно рассказал и пожалел, что не может пойти со мной, так как это большая станция, здесь всегда многие сходят и садятся новые пассажиры, а потому ему нельзя отлучиться. Но поезд стоит минут двадцать, можно не торопиться.

Я спрыгнул на перрон, как только остановился поезд. Народу было много.

Гортанные голоса пестрой, сожженной солнцем, темнолицей толпы, рассаживающейся по вагонам, в суеде и давке перемешивались со смехом и шутками бежавших за водой пассажиров с бутылками, чайниками и кувшинами в руках.

Жара и здесь стояла палящая, но после душного вагона воздух показался мне райским.

Я сходил на телеграф, получил две телеграммы для моего барина, накупил целую кучу газет, какие только были, и вернулся в вагон. Войдя в него, я встретился с новыми пассажирами. Один был одетый по-восточному, довольно красивый мужчина с мягким выражением лица, другой – в белом кителе и форменной фуражке инженера-путейца, с лицом каким-то безразличным, маленького роста и, видимо, очень страдавший от жары.

Я вошел в свое купе, подал Флорентийцу телеграммы и газеты. Он прочел телеграммы и протянул их мне. Я сначала ничего не понял, а потом разобрал, что русскими буквами были составлены английские слова. В одной говорилось, что на станции П. нас будут ждать лошади. А другая сообщала, что два дома и два магазина в К. загорелись от неизвестных причин, спасти удалось только людей и животных.

Я взглянул на Флорентийца, который читал местную газету, полученную утром из К. В ней писалось о пожаре в доме Али, о том, что огонь перебросился через дорогу на дом капитана Т. Дом сгорел дотла, спасся один только денщик.

А сам капитан, его брат и их друг, хромой старик-купец, не смогли проскочить через стену пламени, так как старый сухой дом загорелся сразу со всех сторон, как картонный. А запас керосина, хранившийся в доме, только раздул огонь.

Флорентиец перевел мне эту заметку и сказал, что, судя по телеграммам, для нас пока все складывается благополучно. У него с Али было условлено, что если нас выследят в этом поезде, Али вышлет со своего хутора лошадей на станцию П. Мы сойдем и вернемся на предстоящую станцию, где и сядем в московский поезд. Телеграмма о лошадях есть, до П. уже недалеко. Сердце мое было беспокойно. Мне думалось, что ведь брат действительно мог вернуться и очутиться в опасности. Я поделился своими мыслями с Флорентийцем. Лицо моего друга было очень серьезно.

– Что твой брат в опасности – об этом ты знаешь. Пока все они не сядут на пароход и не достигнут Лондона – им грозит беда. Но что его нет в К. – это так же верно, как и то, что тебя там не было во время пожара. Не будем думать о призраках и фантазиях, растрачивая попусту энергию, а станем ее собирать, чтобы в полном самообладании выполнить свою долю помощи нашим беглецам. Теперь тебе предстоит организовать наш обед.

Заплати проводнику еще «на чай», попроси свести тебя с поваром вагона-ресторана и закажи для своего барина-чудака вегетарианский обед. Но только чтобы подали его сюда и не позднее чем через час. Скоро ты почувствуешь усталость; надо тебе поесть и выспаться. Нам предстоит в короткое время сделать тридцать верст на лошадях. Лошади будут хороши, коляска, думаю, тоже; но твое здоровье хрупко.

– Я невысок и худ, но здоровье мое крепко. Я хорошо закален и выдрессирован братом с детства. Не раз сопровождал его в лагеря, один раз даже ходил в поход и могу шутя проехать верхом и сорок верст, – ответил я. – Если же я упал в обморок и часто чувствую изнеможение, то только непривычная жара тому причиной. Но конфеты Али спасут меня. Обо мне вы не думайте.

Скорее надо бояться вашего страшного сна; ведь если вы эдак заснете в коляске, как спали только что, то действительно можно сгореть в пожаре раньше, чем вас добудешь. Флорентиец снова весело расхохотался.

– Эк напугал я тебя своим богатырским сном! Придется одолжить у тебя пилюлю Али и больше так не спать, – весело прибавил он.

– У вас есть свои пилюли. Вам Али дал коробочку, из которой потчевал меня в своем кабинете, – тоже смеясь, ответил я.

– Есть-то есть, да только ты и вторую из этой коробочки уже съел в доме моего друга ночью, значит, все же одну ты мне должен.

Посмеявшись над моей пилюльной скупостью, он сказал, что давно читает вопросы в моих глазах и мыслях о дервише и Али, но что расскажет обо всем в Москве.

Я пошел хлопотать об обеде. Звонкая монета обстряпала все легко и просто.

Через час в нашем купе стоял складной столик, и лакей из вагона-ресторана принес отличные вегетарианские блюда. Мой барин велел передать повару денежную и сердечную благодарность и просьбу накормить нашего проводника.

Наконец все было убрано, и я отправился с последним поручением барина к проводнику. Я сообщил ему, что телеграмма известила лорда о возможности хорошей торговой операции на станции П. Пусть он нас разбудит заранее и поможет вынести вещи на платформу. Он был очень рад услужить нам за хороший обед и все повторял, что такие отличные пассажиры редко попадают.

Войдя в купе, я увидел, что Флорентиец приготовил мне постель, вынув мягкую подушку из большого чемодана. Я был растроган его заботой, вспомнил, как сам он спал на твердом валике, и с укоризной сказал ему:

– Ну, зачем вы беспокоитесь? Я же мог так же спать, как и вы. Да и вряд ли засну. Нервы взбудоражены, всюду мерещатся западни.

– Ничего, я дам тебе капель, возбуждение уляжется, и заснешь сном не хуже моего.

Говоря так, он достал из своего широкого пояса-жилета маленький флакон и накапал мне в воду несколько капель.

– Гомеопатия, – сказал я. – Не очень-то я в нее верю, – но все же проглотил и улегся. Последнее, что я слышал, был смех Флорентийца; я точно провалился в пропасть и сразу крепко заснул.

Проснулся я, как мне показалось, от стука в дверь. На самом же деле это будил меня Флорентиец. На сей раз я проснулся легко, чувствуя, как дивно я отдохнул. Не успел я встать, как раздался стук в дверь. Выглянув в коридор, я увидел проводника, который сказал, что через двадцать минут будет станция П., я должен собрать вещи, и он вынесет их на площадку, так как поезд стоит здесь только восемь минут.

Вещей мне собирать не пришлось, все было уже сделано Флорентийцем. Он успел и подушку и простыню убрать, пока я одевался и разговаривал с проводником. Сам он был теперь в другом костюме и велел мне надеть поверх моей курточки легкий светлый костюм, а вместо кепи панаму. Сверх всего он накинул на меня и себя черные плащи, вроде тех, что носят морские офицеры.

Мы с проводником вынесли вещи на перрон. Кто-то из пассажиров окликнул его из вагона, он наскоро пожал мне руку и убежал.

На этот раз вся медлительность Флорентийца исчезла. Он быстро взял большой чемодан и свой саквояж, маленький отдал мне, взял меня за руку и зашагал не в зал, а, огибая садик станции, в сторону водонапорной башни.

Едва мы успели зайти за нее, как с противоположной стороны выскочили два дервиша, вглядываясь во тьму ночи. К ним, запыхавшись, подбежал с перрона сарт, быстро что-то сказал и ткнул в руки билеты. Все трое помчались со всех ног к поезду и едва успели вскочить в последний вагон.

Мы молча стояли за выступом башни. Флорентиец крепко держал меня за руку.

Мы ждали до тех пор, пока поезд не отошел и все не стихло вокруг. Тогда он сказал мне:

– Нам надо очень быстро пройти с полверсты. Возьми мой саквояж, дай мне свой чемодан и крепко держись за мою руку.

Я хотел возразить, но он шепнул:

– Ни слова, скорее, после: мы в большой опасности, мужайся. Если успеем сесть в московский поезд, следы наши затеряются.

Мы шли в глубь местности, вправо от станции. Тьма была полная. Шли мы не по дороге, а по узкой тропе и так быстро, что я почти бежал, а Флорентиец шагал своими длинными ногами, не замечая ни тяжести клади, ни моего бега.

Шли мы минут двадцать, внезапно нас кто-то окликнул. Флорентиец ответил, и я увидел в темноте силуэт лошадей и экипажа. Кучер взял большой чемодан, Флорентиец толкнул меня внутрь, прыгнул сам почти на ходу – и мы понеслись. Много я ездил с тех пор. Ездил и на пожарных лошадях, и на рысках, но этого безумного бега, этой темной ночи я не забыл и, очевидно, не забуду.

Панаму мне немедленно пришлось снять; в ушах свистел ветер; лошади неслись вскачь. Соображать я ничего не мог. Я помнил только слова Флорентийца, его «мужайся» подобно гвоздю вошло в меня. Мы мчались так почти час; лошади тяжело дышали и пошли медленнее. Мелькнул ряд домов, деревья – и мы внезапно остановились. «Катастрофа», – подумал я.

Флорентиец выпрыгнул, схватил чемоданы, как ребенка высадил меня вместе с саквояжем и сказал по-английски:

– Скорей бери мою руку.

Мы перебежали через какой-то двор и увидели бричку, в которую мигом взгромоздились. Кучер гикнул, и мы снова помчались.

Флорентиец о чем-то спросил кучера, одетого по-восточному, тот успокаивающе что-то объяснял. Я подсадовал на свое незнание языка.

«Вот, и не глух и не нем, а выходит, что и глух и нем», – думал я; и тут же дал себе слово выучиться этому проклятому языку.

– Ничего, – сказал Флорентиец, ласково пожимая мне руку и точно читая мои мысли. – Беда невелика, ты можешь выучить еще сто языков. Мы скоро приедем; возница сказал, что в следующем кишлаке нас уже ждут билеты и что мы приедем минут за пять до поезда.

Лошади все так же быстро мчались. В этой легкой бричке мне бы не усидеть, если бы Флорентиец не держал меня своей крепкой рукой за талию.

Вскоре стали мелькать дома, у одного из них лошади замедлили бег, и вдруг на подножку с моей стороны кто-то впрыгнул. От неожиданности я отпрянул, но, увидев смеющуюся во весь рот физиономию, понял, что это друг. Незнакомец ловко присел на ободок брички, подал Флорентийцу конверт и весело затрещал что-то, очень его, очевидно, смешившее. Вскоре он на ходу спрыгнул и пропал во тьме.

– Билеты есть. Станция уже видна, – сказал Флорентиец. – Мы мчались меньше двух часов. Вот и огоньки станции. Запомни, ты теперь мой двоюродный брат, а не слуга. Но язык русский я знаю плохо, так как вырос и воспитывался в Лондоне. И ты мой гид и помощник в делах, без которого я обходиться не могу. Между собой мы говорим только по-английски.

Мы подкатили к станции, сердечно поблагодарили возницу, и не успели выйти на перрон, как раздался свисток поезда.

Билеты были первого класса. Вагон был или пуст, или все в нем спало. В просторном четырехместном купе не было никого. Проводник тоже спал и предоставил нам самим устраиваться на своих местах. Мне показалось, что он не совсем трезв и старается скрыть от нас свое состояние.

На мое замечание о странном поведении проводника, даже не спросившего у нас билетов. Флорентиец сказал, что нет худа без добра, потому что наши билеты начинаются со следующей станции. Будь он трезв, пришлось бы входить с ним в сделку. А теперь он не сможет даже вспомнить, на какой станции мы сели в поезд.

Разместив наши вещи, мы заперли купе и вытянулись на мягких диванах, обитых красным бархатом. Флорентиец сказал, что спать не будет, что ему надо прочесть письмо и кое-что

сообразить. Я думал, что мой сон тоже далек, хотел услышать разъяснение всех передрыг этой ночи, но не успел задать вопроса, как заснул глубоким сном.

Конец ночи прошел для меня без сюрпризов. Утром я проснулся совершенно бодрым, и первое, что я увидел, было ласково улыбавшееся мне лицо моего друга. Я почувствовал себя таким счастливым, что вижу его не строгим и озабоченным, а добрым и любящим! Снова мне показалось, что я знаю его давным-давно.

– Положительно, – воскликнул я, – я мог бы спорить, что давным-давно вас знаю. Такую любовь, доверие и уверенность я испытываю подле вас. Я хотел бы всегда, всю жизнь следовать за вами и разделять все ваши труды и опасности.

Я не могу теперь даже представить жизни без вас!

Он рассмеялся, поблагодарил меня за любовь и дружбу и сказал, что его жизнь состоит не из одних только трудов, борьбы и опасностей, но и из больших радостей и знаний, которые он будет счастлив разделить со мной, если я в самом деле захочу пожить возле него.

Было уже часов восемь. Солнце стояло высоко, все такое же яркое. Но мы ехали уже не по голодной степи. Здесь почва была покрыта хотя и сожженной солнцем, но все же травой. Селения встречались чаще; и у каждой речушки или озера торчали юрты кочующих киргизов или калмыков.

– Здесь еще есть жизнь, – заметил Флорентиец. – Но ночью мы въедем в полосу пустыни и так и поедем по ней больше суток. Жизнь заброшенных туда людей – это почти только одни семьи железнодорожного персонала – полна бедствий. Кочующие пески не дают возможности развести ни огородов, ни садов.

Колодцы возле станций есть, но вода в них солонa и не годится не только для питья, но даже для выращивания овощей. Питьевую воду им доставляют в цистернах, но далеко не в достаточном количестве, и эти несчастные воруют друг у друга остатки пресной воды. А на зубах у них всегда хрустит песок.

Я представил себе эту жизнь и подумал, скольких мест еще не достигла цивилизация. Как много предстоит преодолеть трудностей, чтобы жизнь стала сносной для всех.

Постучали в нашу дверь. Это оказался проводник, спрашивавший билеты и извинявшийся, что он забыл их взять у нас ночью. А сейчас пойдет проверка билетов, которые должны находиться у него. Флорентиец подал их проводнику.

– Завтрак, чай, – сказал он ему с иностранным акцентом.

Я объяснил проводнику, что мой брат желает кушать в купе, а не ходить в вагон-ресторан. Он взялся принести нам завтрак, но сказал, что хороший вагон-ресторан прицепят только в Самаре, а пока кормят плохо. На мой вопрос о фруктах ответил, что может их достать сейчас и даже отличные.

Я дал ему денег, подумав, сколько же из них он пропьет. И решил, что наше путешествие до Москвы будет не самым комфортным и вряд ли мы получим съедобный завтрак.

Но я ошибся. Проспавшийся проводник оказался честным малым. Он вскоре принес отличный кофе со сливками, вкусный хлеб, масло, сыр и фрукты и всю до копейки сдачу.

Когда завтрак был окончен и все убрано, Флорентиец сказал мне:

– Теперь приготовься выслушать, от каких бедствий мы спаслись и какие грозы собираются над головой Али. Люди в одежде дервишей и тот третий, с билетами, которых мы встретили ночью у водонапорной башни, гнались за нами.

Фанатики и муллы вывели нас благодаря многочисленности монашествующих сект и отличной шпионской организации, связывающей их всех между собой.

Прибежавший к дервишам сарт с билетами сказал им, что мы следуем в К. в международном вагоне, что ты едешь в платье слуги и тебя надо прикончить в толпе на перроне. А меня постараться захватить живьем, когда начнется переполох. Теперь они уже подъезжают к К. Они сели на той станции, где мы сошли, все там обследовали и потому будут уверены, что

нас там не было. За хутором Али, откуда нам прислали лошадей, вели слежку весь день. Убедившись окончательно, что нас там нет, они попросили кучера довести их до станции к ночному посадку. Он с удовольствием это сделал, так как иначе ему невозможно было бы выехать за нами, не возбуждая ничьих подозрений. Доставив их на станцию, он тотчас уехал, будто бы домой, а на самом деле остановился в том месте, которое Али указал мне в телеграмме. И вот след наш теперь так запутан, что найти нас трудно. Но все же, чтобы нам ехать не вдвоем, ведь ищут двоих, надо послать телеграммы двум моим друзьям, чтобы они перехватили нас на этом поезде, как и где только смогут и как можно скорее...

Я вызвался отправить телеграммы, но Флорентиец сказал, что это надо поручить проводнику.

Телеграммы были написаны. Отдавая проводнику телеграммы и деньги, Флорентиец сказал:

– Все, что останется, возьмите себе. – И задержав его грубую руку в своей прекрасной руке, прибавил тихим проникновенным голосом: – Только не пейте больше. Это не облегчит вашего горя, а прибавит еще несчастий.

Тут произошло что-то необыкновенное. Проводник схватил обеими руками руку Флорентийца, прижал к ней и зарыдал. Эти горькие рыдания раздирали мне душу.

Слезы стояли в моих глазах, я едва мог их удержать.

Флорентиец усадил проводника рядом с собою на диван, отер его слезы своим чудесным, душистым носовым платком и сказал:

– Не горюйте. Девочка ваша умерла, но жена жива. Вы оба очень молоды, и будут еще у вас дети. Но надо так жить, чтобы дети рождались здоровыми, а поэтому никогда не пейте. Дети алкоголиков всегда бывают больными и, чаще всего, несчастными.

Он подал ему стакан с водой, накапав туда каких-то капель. Придя в себя, проводник сказал:

– Я никогда не пил до этого раза. Но вернувшись домой, увидел мертвого ребенка и мертвую жену, а тут ни минуты времени и надо уезжать, – не смог я с собой совладать, в дороге стал пить. Так это я вам, барин, рассказал ночью про свое горе. Все спуталось в моей голове. Я думал, что это я прошлой ночью какому-то азиатцу рассказывал. Он бродил по вагонам, разыскивая своего товарища – слугу в коричневой одежде и никак мне не верил, что такой у меня не едет. Все я перепутал. Мне показалось, что он прошел в международный вагон, а я задремал минут на пять. А оказалось, что уже две станции проехали, хорошо, что контролер за это время не проходил. Ах, как я все перепутал спяну! Думал, что это я ему рассказывал. – Он покачал недоуменно головой. – Грех-то какой! Невесть чего мерещится.

Флорентиец еще раз пожал ему руку, повторил, что жена его была в глубочайшем обмороке, что это бывает при родах. Он советовал ему послать домой телеграмму с оплаченным ответом на Самару до востребования.

– Так вы, барин, значит доктор. Оно и видать. Только доктор и может человека человеком признать, пусть он и беден. Вы не гнушались мне руку пожать, – говорил проводник, аккуратно складывая платок Флорентийца и возвращая его.

– Возьмите его на память о нашей встрече, друг, – сказал Флорентиец. – А это передайте вашей жене, когда вернетесь домой, чтобы принимала по одной капле перед каждой едой. Когда все капли выпьет, поправится совсем. Флакон пусть оставит себе на память о докторе. Когда вам будет тяжело в жизни, поглядите на флакон, подержите в руках мой платок и подумайте о моих словах, как я просил вас никогда не пить.

Он еще раз пожал проводнику руку, задержав ее в своих, улыбнулся ему и сказал:

– Мы еще с вами увидимся. Не теряйте мужества. Пьяный человек – не человек, а только двуногое животное. Не скорбите, что потеряли ребенка, а радуйтесь, что жива любимая жена. Бегите, подъезжаем.

Проводник вышел, мы остались одни. На душе моей было пасмурно. Я-то знал отлично, что Флорентиец не говорил с проводником. Откуда он мог знать о его горе, его жене? Какая-то досада и раздражение опять подымались во мне: опять эта ненавистная таинственность.

– Не надо сердиться, Левушка, – сказал мне Флорентиец, нежно обняв меня за плечи. – Право же, на свете нет чудес. Все объясняется очень просто. Я вышел ночью в коридор, слышу, кто-то плачет и причитает. Я пошел на голос и увидел этого несчастного перед откупоренной бутылкой водки, которой он жаловался и изливал горе по умершей жене и новорожденной дочке. Не надо быть врачом, чтобы знать, что у женщин при болезни почек во время родов случаются глубочайшие обмороки. Я уверен, что тут был как раз такой случай и что его жена пришла в себя, но у бедняги не было времени дожидаться и убедиться в этом. Ты уже не дитя, – продолжал он, усаживая меня подле себя. – Тебе пора оставить манеру прежде всего сердиться, если ты чего-нибудь не понимаешь. Во всем, что тебе кажется таинственным и непонятно чудесным из происшествий последних дней, – если бы ты не раздражался, а собирал волю и бдительно наблюдал, ты бы сам убедился – нет чудес, а есть та или иная степень знания.

Голос его, выражение милых глаз, все было так отечески нежно и ласково, что я приник к нему, – и снова волна радости, уверенности и спокойствия пробежала по мне. Я был счастлив.

Вскоре вернулся проводник, принес квитанции на посланные телеграммы и букет роз, которым украсил наш столик. Флорентиец сказал, что ждет в Самаре двух своих друзей, для которых просит оставить соседнее с нами купе. А что касается нашего, то хочет занять в нем все четыре места, чтобы хорошенько отдохнуть. Проводник объяснил, что, заплатив за лишние две плацкарты, мы получили право на все купе. Но если хотим заказать купе для друзей, должны внести вперед сумму за заказ и билеты, что мы сейчас же и выполнили.

Дальше наше путешествие проходило без осложнений. В Самару мы должны были приехать ночью. Я очень устал, мне хотелось спать, и я попросил проводника сделать мне постель. Флорентиец сказал, что будет ждать друзей, от постели отказался, а для них попросил приготовить постели в соседнем купе.

Я спросил проводника, почему вагон наш пуст. Он объяснил, что все едут на ярмарку в дальние восточные города, что в ту сторону вагоны заполнены до отказа купцами всех наций; а оттуда пока идут пустые поезда. Но через две недели нельзя будет достать ни одного билета обратно, даже и в третьем классе.

Постель моя была готова, я отлично вымылся, с восторгом переоделся в чистое белье Али Махмуда, мысленно поблагодарил его, дав себе обещание отслужить ему за заботу, простился с Флорентийцем и мигом заснул.

Глава VII

Новые друзья

Проснувшись, я увидел, что диван Флорентийца пуст. Должно быть, было уже довольно позднее утро, и – что меня особенно поразило – в окна стучал частый крупный дождь.

Это был первый дождь, с тех пор как я приехал к брату в К., где летом никогда не бывает дождя, о котором мечтаешь, покрытый потом и пылью, как о манне небесной.

Я мигом вскочил и засмеялся, вспомнив, как меня поразила быстрота движений Флорентийца, когда он вот так же внезапно сел, проснувшись. И я сейчас, точно кот, почуявший мышь, бросился к окну и отдернул занавеску.

Дождь показался мне добрым, родным братом. В его серой пелене был виден лес, настоящий зеленый лес, и не было жары.

Какая-то нежность к своей родине, даже как бы чуть-чуть раскаяние, что я мало ценил ее до сих пор, с ее лесами, рощами, зелеными полями и сочной травой, пробежали по мне. Я радовался, что попал снова в свой край, где нет серо-желтого ландшафта, одинаково пустынь-

ного на десятки верст с торчащими, как бирюзовые горы, голубыми куполами и минаретами мечетей.

И как только эта восточная картина мелькнула в моем воображении, так сразу же встала передо мной и вся цепь событий, людей, отдельных слов и небольших эпизодов последних дней.

Моя радость потускнела, быстрота движений исчезла. Я стал медленно одеваться и думать, какой сумбур царит в моей голове. Я положительно не мог связать все события в ряд последовательных фактов. И все, что было третьего дня, вчера или два дня назад, – все сливалось в какой-то большой ком, и я даже не все отчетливо помнил.

Внезапно в коридоре я уловил какое-то слово, и тембр голоса опять показался мне знакомым.

«Странно, – подумал я. – Всегда у меня была изумительная память на лица и голоса. А теперь и этот дар я, кажется, теряю. Должно быть, проклятая шапка дервиша да жара повредили мне не только слух, но и мозги».

В эту минуту снова донесся из коридора баритональный, неповторимо красивый голос. Я даже сел от изумления, и всего меня бросило в жар, хотя ни о какой жаре и помина не было.

«Нет, положительно я стал какой-то порченный, как говорил денщик брата, – продолжал я думать, утирая пот со лба. – Не может это быть дервиш, который дал мне свое платье и у которого мы останавливались ночью». Все завертелось в моей голове, до физической тошноты, недоумение заполнило меня всего.

Я думал, что, если бы под страхом смертной казни я должен был рассказать в эту минуту подробный ход событий, я бы не мог их передать, память моя отказывалась логически работать. Я сидел, уныло повесив голову, а в коридоре теперь уже явно различал английскую речь – один из голосов принадлежал Флорентийцу, а другой был все тот же чудесный металлический баритон, ласкающий, мягкий; но, казалось, прибавь этому голосу темперамента – и он может стать грозным, как стихия.

«Нельзя же так сидеть растерянным мальчиком. Надо выйти и убедиться, кто же говорит с Флорентийцем», – продолжал я думать, напрасно стараясь отдать себе отчет, когда точно я видел мнимого дервиша, сколько прошло времени с тех пор, мог ли он очутиться здесь сейчас.

Только я решился выйти из купе, как дверь открылась, и вошел Флорентиец.

Его прекрасное лицо было свежо, как у юноши, глаза блистали, на губах играла улыбка, – ну, век смотрел бы на это воплощение энергии и доброты; и никогда не поверил бы, как сурово серьезно может быть это лицо в иные моменты.

Он точно сразу прочел все мои мысли на моем расстроенном лице, сел рядом, обнял меня и сказал:

– Мой милый мальчик! События последних дней могли расстроить и не такой хрупкий организм, как твой. Но все, что ты испытал, ты перенес героически.

Ни разу страх или мысль о собственной безопасности не потревожили твоего сердца. Ты был так верен делу спасения брата, как только это возможно.

Теперь я узнал о судьбе обоих Али и их домочадцев.

И он рассказал мне, как Али с племянником, проводив нас и дервиша, вернулись в город. Там они вывели из дома всех людей и спрятали их в глубоком бетонном погребе, под каменным сараем в самом конце парка. Туда же успели вынести из дома наиболее ценные ковры и вещи, замаскировав вход так, что найти его никто не мог. Там, в этом погребе, Али и все его домочадцы провели страшную ночь, когда толпа дервишей и правоверных кинулась на его дом.

Ужасов, неизбежных в этих случаях, – как выразился Флорентиец, – он не стал мне рассказывать. Власти, услышав, что религиозный поход принимает колоссальные размеры, – а это уже никого не устраивало, – разослали по всему городу патрули. Но патрули вышли тогда, когда дом Али был уже подожжен со всех концов.

С домом брата фанатики поступили так же. Сухой как щепка старый дом сгорел дотла. Но тут несчастья было больше. Подкупленный денщик пустил вечером кого-то в дом, якобы осмотреть драгоценную библиотеку брата.

Вошедшие стали угощать его вином, до которого он был великий охотник, очевидно угостились и сами на славу. Как было дело дальше, никто толком пока не знает. Но факт, что двое там сгорели, а денщик еле выскочил из огня. Ему рамой расшибло голову, когда он выпрыгивал. Еле добравшийся до задней калитки сада, полуодетый, окровавленный, почти в безумном состоянии, он был подобран проходившим патрулем и доставлен в госпиталь. Там в бреду все повторял:

– Капитан... барин... брат... Они насильно лезли. – И снова: – Капитан... барин... брат... Я их не пускал... Они подожгли.

Военный доктор, узнав от солдат, что больной им известен, что это денщик капитана Т., встревожился и послал доложить генералу о пожаре. Он спрашивал, известно ли кому-нибудь, где капитан Т., не сгорел ли он вместе с братом в своем доме? Что от денщика его узнать ничего толком нельзя, и надо думать, в себя он не придет и скоро умрет.

Разбуженный генерал, предубежденный вообще против местного населения, ненавидевший к тому же, когда тревожили его ночной покой, – помчался прямо к губернатору. Он там закатил такой спектакль, что немедленно все проснулось.

Ничего не видевшие и не слышавшие до этой минуты власти, считавшие местные дела не подлежащими санкциям царских властей, сразу же пробудились, прозрели и кинулись тушить пожар фанатизма, объявив этот религиозный поход бунтом.

Хорошо заплатив всем властям за невмешательство, бесчинствующая толпа фанатиков была поражена примчавшейся пожарной командой и нарядом военных.

Мулла стал уверять дервишей и толпу, что это только инсценировка, что никого не тронут. Но когда увидел выстроившуюся цепь солдат, готовых к стрельбе, – первый бросился бежать со всех ног, за ним разбежалась и толпа.

Дом Али удалось наполовину отстоять, но дом брата горел, как костер, пламя бушевало с такой силой, что даже подступиться к нему близко было невозможно. Очевидно, благодаря бреду бедняги-денщика создалась уверенность, что капитан Т. и его брат сгорели в доме.

Пока Флорентиец все это мне рассказывал, у меня, как у одержимых навязчивой идеей, сверлила в голове мысль: «Чей я слышал голос? Как зовут этого человека?»

Не в первый раз за наше короткое знакомство я замечал поразительное свойство Флорентийца: отвечать на мысленно задаваемый вопрос. Так и теперь, он мне сказал, что в Самаре в наш вагон сели два его друга, которых он встретил на перроне.

– Один из них тебе уже знаком, – проговорил он с неподражаемым юмором, так комично подмигнув мне глазом, что я покатился со смеху. – Его зовут Сандра Кон-Ананда, он индус. И ты не ошибся, голос его мог бы сделать честь любому певцу. Поет он изумительно, прекрасно знает музыку, и ты, наверное, сойдешься с ним на этой почве, если другие стороны этого своеобразного, интересного и очень образованного человека не заинтересуют тебя. Другой мой друг – грек. Он тоже человек незаурядный. Великолепный математик, но характера он более сложного; очень углублен в свою науку и мало общителен, бывает суров и даже резковат. Ты не смущайся, если он будет молчать; он вообще мало говорит. Но он очень добр, много испытал и всякому готов помочь в беде. По внешнему обращению не суди о нем. Если у тебя явится охота с ним поговорить – ты пересиль застенчивость и обратись к нему так же просто, как обращаешься ко мне.

– Как я обращаюсь к вам?! – горячо, даже запальчиво воскликнул я. – Да разве может кто-нибудь сравниться с вами? Если бы тысячи дивных людей стояли передо мной и мне предложили бы выбрать друга, наставника, брата – я никого бы не хотел, только вас одного. И теперь, когда все, что мне было дорого и близко в жизни – мой брат, – в опасности, когда я не знаю,

увидю ли его, спасусь ли сам, – я радуюсь жизни, потому что я подле вас. Через вас и в вас точно новые горизонты мне открываются, точно иной смысл получила вся жизнь.

Только сейчас я понял, что жизнь ценна и прекрасна не одними узами крови, но той радостью жить и бороться за счастье и свободу всех людей, что я осознал подле вас. О, что было бы со мной, если бы вас не было рядом все эти дни? Неважно даже, что я бы погиб от руки какого-нибудь фанатика. Но важно, что я ушел бы из жизни, не прожив ни одного дня в бесстрашии и не поняв, что такое счастье жить без давления страха в сердце. И это я понял подле вас. Теперь я знаю, что жизнь ведет каждого так высоко, как велико его понимание своего собственного труда в ней как радости, светлой помощи, чтобы тьма вокруг побеждалась этой радостью. И все случайности, бросившие меня сейчас в водоворот страстей, мне кажутся благословенными, происшедшими только для того, чтобы я встретил вас. И никто, никто в мире не может стать для меня наряду с вами!

Флорентиец тихо слушал мою пылкую речь; его глаза ласково мне улыбались, но на лице его я заметил налет грусти и сострадания.

– Я очень счастлив, мой дорогой друг, что ты так оценил мое присутствие возле тебя и нашу встречу, – сказал он, положив мне руку на голову. – Это доказывает, что тебе присуща редкая в людях черта благодарности. Но не горячись. Если сознание твое расширилось за эти дни, то, несомненно, и сердце твое должно раскрыться. Должны стереться в нем, как и в мыслях, какие-то условные грани.

Ты должен теперь по-новому смотреть на каждого человека, ища в нем не того, что сразу и всем видно, не броских качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а той внутренней силы и доброты сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих, среди их предрассудков и страстей.

И если хочешь нести свет и свободу людям в пути, – начинай всматриваться в них по-новому. Начинай бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собою. Начинай сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудка, что человек тот, чем он кажется, и суди о нем только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание. Оба моих друга знают мало твоего брата и так же мало знают Наль. Но как только Али намекнул им месяц назад о возможности происшедшей сейчас развязки, они оба оставили все свои дела, ждали зова и приехали помогать Али точно так же, как и я. Попробуй первый раз в жизни взглянуть в их лица иначе. Пусть любовь к брату будет тебе ключом к новому пониманию сердца человека. Прочти с помощью этого ключа ту силу преданной любви, что единит всех людей, без различия наций, религий, классовой розни. Подойди к ним впервые как к людям, цвет крови которых тоже красный, как и у тебя.

Он обнял меня, сказал, что с Сандра Кон-Анандой он уже пил кофе в вагоне-ресторане, а теперь мне надо проявить вежливость к другому гостю и предложить ему свои услуги спутника и гида. Грека зовут Иллофиллион. Он говорит по-русски плохо и очень стесняется говорить на этом языке в непривычной обстановке.

– Побори свою застенчивость, – прибавил Флорентиец, – вспомни, как я вел тебя за руку в трудные минуты. Вообрази, что для него это тоже минуты неприятные, и облегчи ему их. Он отлично владеет немецким. Если тебе надоест его затрудненная русская речь, ты можешь заставить его рассказать по-немецки много интересного из его студенческих лет. Он окончил естественный факультет в Гейдельберге и математический в Лондоне.

С этими словами он предложил мне скорее привести себя в полный порядок, достал мне из саквояжа кепи вместо панамы, и... я вздохнул и отправился знакомиться с греком, не менее застенчивым, чем я сам.

За свои двадцать лет я не очень часто бывал в обществе. Четырнадцать лет я прожил неотлучно с братом, под руководством которого проходил программу гимназии. Я разделял

его кочевую жизнь, был с ним даже в Р-ском походе. Но когда брату пришлось перевестись с полком в далекую Азию, он решил отдать меня в гимназию в Петербурге, где у нас была тетка. Он надеялся, что, быть может, удастся поместить меня у нее. Но старая чванливая дама не пожелала иметь такого замухрышку своим компаньоном в повседневной жизни, – и брату пришлось выбрать гимназию с интернатом.

На экзаменах, которые я держал в шестой класс, мои познания поразили учителей.

Я выдержал языки и математику блестяще. Сочинением на тему о сказке в произведениях великих писателей я их всех сразил. Они дали мне тему из русской литературы, я же понял ее как тему в мировой литературе, и наваял со свойственным мне азартом столько, что бумаги мне не хватило. На просьбу дать мне еще бумаги учитель с удивлением сказал, что за всю его жизнь ему встретилось впервые, чтобы ученику не хватило бумаги, отпущенной на черновик и на переписку набело.

Подошедшему в эту минуту директору он показал мою работу, сказав, что вот уже три часа, как я пишу почти не отрываясь. Директор взял мои листы, стал читать, прочел почти целый лист и спросил, пристально на меня поглядев:

– Вы сын писателя?

– Нет, – ответил я, – я сын своего брата.

Увидев полное изумление на лицах директора и учителя, который едва сдерживался, чтобы не прыснуть со смеху, я смутился и быстро пробормотал:

– Простите, господин директор. Я сказал, конечно, несуряицу. Я хотел сказать, что не помню ни отца, ни матери. А как себя помню – все меня воспитывал и учил брат: и я привык видеть в нем отца. Вот потому-то я так нелепо и выразился.

– Это хорошо, что вы так любите брата. Но кто же готовил вас? Вы так прекрасно приготовлены.

– Брат занимался со мной по программе гимназии, других учителей у меня не было.

– А кто же ваш брат? – спросил, улыбаясь, учитель.

– Поручик Некого полка, – ответил я. Наставники переглянулись, и директор, все еще глядя удивленно на меня, но улыбаясь мне мягкой и доброй старческой улыбкой, сказал:

– Или вы феномен по способностям, или ваш брат поразительный педагог.

– О да, мой брат не только педагог, но и такой ученый, какого другого и нет, – выпалил я восторженно. – Да вот и он, – закричал я, увидев милое лицо моего брата за стеклянной дверью класса.

И забыв, где я, кто передо мной, зачем я здесь, я выскочил в коридор и обвил шею моего дорогого брата руками. Как сейчас помню то страстное чувство любви, благодарности, тоски от предстоящей разлуки и радости от привычного объятия и ласки брата, какое я испытал тогда.

Тихо разняв мои руки, брат вошел в класс, стал навтыжку перед директором и сказал:

– Прошу извинить, ваше превосходительство, моего брата. В кочующей офицерской жизни мне удалось обучить его немногим наукам, которые я сам знал. Но манеры и дисциплинированность не пришлось ему привить. Я надеюсь, что под вашим просвещенным руководством он их приобретет.

Директор подал руку брату, познакомил его с учителем, с любопытством разглядывавшим его, и наговорил ему массу комплиментов по поводу моей подготовки и блестящих способностей.

Но в моем сердце появилась первая трещинка. Я понял, что осрамил брата.

Вспомнил, как часто он повторял мне, что надо всегда быть выдержанным и тактичным, вдумываться в обстоятельства, отдавать себе отчет, где ты и кто перед тобой, – и только тогда действовать.

Весь этот эпизод детской жизни мелькнул сейчас передо мной, вызванный точно такой же спазмой сердца, которую я испытал тогда. Я встретил впервые чужого человека, который

стал мне так же дорог и близок, как мой милый брат, – и я снова себя почувствовал неумелым ребенком, не знающим, как подойти к чужому человеку, что ему сказать и как себя вести, чтобы выполнить желание Флорентийца и доставить ему удовольствие своим поведением... Я стоял в коридоре, не решаясь постучаться в соседнее купе, а в моей голове, – точно молнией освещенный, – пронесся этот эпизод моей первой детской бестактности.

Сжав губы, вспомнил я из письма Али: «превозмогу», – и постучался.

– Войдите, – услышал я незнакомый мне голос. Я открыл дверь и чуть было не убежал назад к Флорентийцу, как когда-то к брату в коридор.

На диване, друг против друга, сидели рослые люди, но я увидел только две пары глаз. Глаза дервиша – сразу запомнившиеся мне в первое свидание, глаза – звезды, – и пристальные, почти черные глаза грека, напоминавшие прожигающие глаза Али-старшего.

– Позвольте теперь познакомиться с вами по всем правилам вежливости, – сказал, вставая, Сандра Кон-Ананда. – Это мой друг Иллофиллион.

Он пожал мне руку, я же неловко мял в руке свое кепи и, кланяясь греку, проговорил, как плохие ученики нетвердо выученный урок:

– Ваш друг Флорентиец послал меня к вам. Может быть, вам угодно пойти в вагон-ресторан выпить кофе? Я могу служить вам гидом.

Грек, пристальные глаза которого вдруг перестали быть сверлящими шилами, а засветились юмором, быстро встал, пожал мне руку и сказал с сильным иностранным акцентом, очевидно выбирая слова, но совершенно правильно по-русски:

– Я думаю, мы с вами – «два сапога – пара». Вы так же застенчивы, как и я. Ну, что же. Пойдем вместе. Мы, конечно, не найдем двести, но потеряем четыреста. А все же мы с вами подходим друг другу, и, наверное, пока решимся спросить себе завтрак, – все съедят у нас под носом, и мы останемся голодными.

Говоря так, он скроил такую постную физиономию, так весело потом рассмеялся, что я забыл все свое смущение, залился смехом и уверил его, что буду решительно беззастенчив и накормлю его до отвала.

Мы вышли из купе под веселый смех Кон-Ананды. Пройдя в вагон-ресторан, я быстро нашел там столик в некурящем отделении, заказал завтрак и старался занимать моего нового знакомого, обращаясь к нему на немецком языке. Он отвечал мне очень охотно, спросил, бывал ли я в Греции. Я со вздохом сказал, что дальше Москвы, Петербурга, Северного Кавказа и К., где был в первый раз и очень коротко, нигде не бывал.

Нам подали кофе, и я, пользуясь правом молчания за едой, украдкой, но пристально наблюдал моего грека.

Положительно, за мою детскую и юношескую монотонную жизнь сейчас я был более чем вознагражден судьбой, встретив сразу так много событий и лиц, не только незаурядных, но даже не уместяющихся в моем сознании. Казалось, надень моему греку венок из роз на голову, накинь на плечи хитон – и готова модель для лепки какого-нибудь олимпийского бога, древнего царя, мудреца или великого жреца, – но в современное платье в моем сознании он как-то не влезал. Не шел ему европейский костюм, не вязался с ним немецкий язык, – скорее ему подошли бы наречия Испании или Италии. Правильность черт его лица не нарушал даже низкий лоб с выпуклостями над бровями – тонкими, изогнутыми, длинными, – до самых висков, нежность кожи при таких иссиня-черных волосах и едва заметные усы... Про него действительно можно было сказать: «Красив, как бог».

Но того обаяния, которым так притягивал к себе Флорентиец, в нем не было.

Насколько я не чувствовал между собою и Флорентийцем условных границ, – хотя и понимал всю разницу между нами и его огромное превосходство во всем, – настолько Иллофиллион казался мне замкнутым в круг своих мыслей. Он точно отделен был от меня пере-

городкой, и проникнуть в его мысли, думалось мне, никто бы не смог, если бы он сам этого не захотел.

Мы дождались следующей остановки, вышли из ресторана и прошли по перрону до своего вагона. Мой спутник поблагодарил меня за оказанную ему услугу, прибавив, что гид я очень приятный, потому что умею молчать и не любопытен.

Я ответил ему, что детство прожил с братом, человеком очень серьезным и довольно молчаливым, а юность не баловала меня такими встречами, когда люди бы интересовались мною. Поэтому хотя я и очень любопытен вопреки его заключению, но научился, так же как и он, думать про себя.

Он улыбнулся, заметив, что математики – если они действительно любят свою науку – всегда молчаливы. И мысль их углублена настолько в логический ход вещей, что даже вся вселенная воспринимается ими как геометрически развернутый план. Поэтому суэта, безвкусица в высказывании не до конца продуманных мыслей и суетливая болтовня вместо настоящей, истинно человеческой осмысленной речи, какую должны бы обмениваться люди, пугает и смущает математиков. И они бегут от толпы и суеты городов с их далекой от логики природы жизнью.

Он спросил меня, люблю ли я деревню? Как я мыслю себе свою дальнейшую жизнь? Я ответил, что вся жизнь моя прошла пока на гимназической и студенческой скамье. Рассказал ему, как поступил в гимназию, смеясь вспомнил и блестящие экзамены. Потом рассказал и о первом горе – разлуке с братом и жизни в Петербурге. А затем, как бы для самого себя подводя итоги какого-то этапа жизни, – сказал ему:

– Сейчас я на втором курсе университета и тоже горе-математик. Но мои занятия даже еще не привели меня к пониманию, какую жизнь я хотел бы себе выбрать, где бы хотел жить, и даже не понимаю пока, какое место во вселенной вообще занимает моя персона.

Мы стояли в коридоре, и мой собеседник предложил мне войти в его купе.

Наш разговор – незаметно для меня – принял теплый товарищеский характер.

Меня перестала смущать внешняя суровость моего нового знакомого, а наоборот, я почувствовал как бы отдых и облегчение. Мои мысли потекли спокойнее; мне очень хотелось узнать об университетах Берлина и Лондона, и я был рад посидеть с моим новым другом.

Но мне страстно хотелось также заглянуть к Флорентийцу и передать ему, что я не осыпался, выполняя его поручение, и что грек очень интересный человек.

Только я собирался сказать, что зайду на минутку в свое купе, как дверь открылась, и на пороге я увидел Кон-Ананду. Он сказал, что Флорентиец заснул и что, если мне интересно поговорить с Иллофиллионом, он охотно посидит в моем купе и покараулит сон Флорентийца.

Я уже знал хорошо, как крепко тот спит, и с удовольствием согласился поменяться местами с Анандой на некоторое время.

Мы продолжали прерванную было беседу. Чем дальше говорил Иллофиллион, тем сильнее поражаюсь я его знаниям, наблюдательности, а главное, силе его обобщений и выводов.

Я и сам не лишен был синтетических способностей, хорошо разбирался в логике, сравнительно много читал. Но все мои, называемые блестящими, способности показались мне жалким хламом, сброшенным в лавке старьевщика в общую кучу, в сравнении с четкостью мысли и речи моего собеседника.

– Как странно я чувствую себя сегодня. Точно я поступил в новый университет и прослушал ряд замечательнейших лекций. Но если бы вы еще рассказали мне о быте студентов, с которыми вы учились, об уровне их развития и интересов, – сказал я.

И снова полилась наша беседа, причем мой собеседник проводил параллели между студенчеством Греции, Германии, Парижа и Лондона, которое он имел возможность наблюдать.

Я ловил каждое слово. Он говорил так просто и вместе с тем так образно, что мне казалось, будто я сам путешествую вместе с ним, все слышу и вижу собственными глазами. Страст-

ная жажда знаний, жажда видеть мир, людей, узнать их нравы и обычаи наполнила меня экстазом. Я перестал отдавать себе отчет о времени и месте, забыл, что я все свое образование получил трудами брата, бедного русского офицера, и решил, что непременно увижу весь свет и не оставлю ни одного угла, не побывав там.

– А хотелось бы вам путешествовать? – услышал я вопрос. И, точно свалившись с неба, я осознал, что никак не смогу объехать не только всего мира, но даже своей родной России, потому что я беден и до сих пор умею зарабатывать только гроши уроками да переводами.

– Хотеть-то я очень бы хотел, – вздохнув, ответил я. – Но мне не везет с путешествиями. После пятилетней разлуки с братом, пока я кончал гимназию и поступал в университет, я выбрался, наконец, к нему в Азию. Мечтал увидеть новый свет и новый народ – и вот все скомкалось. И брата я теперь потерял, – прибавил я тихо, вспомнив, с какой радостью я ехал на свидание с ним в далекое К. и с какой скорбью возвращаюсь оттуда.

И. склонился ко мне, необыкновенно ласково поглядел мне в глаза и так же тихо ответил:

– Я всем сердцем сострадаю вам, друг. Я тоже пережил такой момент жизни, когда потерял все, что любил, и всех, кого любил, в один день. Но мое состояние было хуже вашего, потому что я не мог помочь никому из тех, кого любил. Когда я сам, тяжело раненный, пришел в себя, я увидел только похолодевшие трупы своих родных и близких. А что касается всех моих надежд, идеалов, стремлений, исканий истины и чести, – все это также было выметено из моей души и превращено в прах, ведь убийцами были фанатики-лицемеры, разыгрывавшие роль друзей...

Он помолчал и продолжал еще более проникновенным тоном:

– Ваше положение много лучше того момента моей жизни. Вы еще не потеряли брата, вы только в разлуке с ним. Вы еще можете ему помочь и уже начинаете дело помощи. Я приехал погостить к Али пять лет тому назад, возвращаясь из путешествия по Индии, и познакомился у него с вашим братом. Али рассказал мне о его чистой жизни большого ученого-самоучки, о его беззаветной преданности идее свободы. Такие, редко встречающиеся в русском офицере качества, я помню, меня очень тронули. И когда я увидел вашего брата, его прекрасное лицо сказалось мне так много, что я сразу стал ему преданным другом. А вы знаете, – из наблюдений даже такой короткой и юной жизни, как ваша, – что цельные, сосредоточенные характеры не умеют отдавать своих сердец и дружбы наполовину. Мы часто виделись с вашим братом. И это я пополнял постоянными посылками редких книг его прекрасную библиотеку.

Удивительно, что странствующая жизнь офицера не помешала ему таскать за собой повсюду сундуки с книгами. Ну, а когда он осел в К., тут уж подлинно он собрал настоящую ценность – библиотеку мудреца. Как жаль, что все это погибло...

Снова помолчав, придвинувшись ближе, он добавил:

– Мне по опыту понятно ваше состояние. И то, что я вам скажу, я решаюсь сказать только потому, что сам прошел через все печальные этапы человеческой жизни, от которых страдаете вы. Нельзя думать, как думает всегда юность, что жизнь ценна главным образом тем личным счастьем, которое она сулит. Не считайте корнем вашего положения сейчас страдание и опасности, которые переносите за брата.

Откиньте личные чувства и мысли о себе; думайте о защите брата, о труде и энергии, которыми вы поможете ему выйти живым и свободным из десятка ловушек, а их будут составлять ему фанатики и царское правительство, не очень-то любящее думающих офицеров. Если бы вам не удалось увидеться с братом...

– Как, – вскричал я в ужасе, – вы полагаете, что он умер? – О нет, я уверен, что он жив и уже в Петербурге, – ответил он. – Я говорил только о весьма возможной случайности, что вам не удастся сейчас свидеться с братом, и он не сможет взять вас с собой.

– О, это было бы ужасно. За целых пять лет я не провел с ним и двух месяцев, если сосчитать те редкие дни, когда он приезжал ко мне в Петербург.

Я жил надеждами. Наконец сбылась моя мечта, я должен был прожить с ним лето и даже часть осени – и снова я одинок...

Тоска, раздражение, протест владели мной. Мне подумалось, что чужие люди встали между мной и братом. Увлекли его интересы чужого народа, а я, брат-сын, оказался брошен, забыт и не нужен. Буря, вихри страстей рвали мое сердце! Ревность, как дикие кони, таскала мою мысль от одного события к другому, от одних лиц к другим...

Мой товарищ молчал. Долго молчал и я. Наконец раздражение стало стихать.

Я перестал ломать руки, и преданность брату, благодарность за его любовь и заботы взяли верх над грубой материей моего эгоизма и отчаяния.

Я вспомнил лицо брата там, на дороге, под величественным деревом, когда Али высаживал из коляски Наль. Тогда меня поразило это лицо незнакомого мне человека, человека недюжинной воли, чьи брови слились в одну сплошную линию.

И этот человек не был тем моим братом-добряком, которого я знал. Это был незнакомец, чей поток энергии устремляется как лава, сметая все на пути.

Тогда я был просто поражен и не сделал того единственного вывода, который сделал бы всякий более опытный человек. А может быть, быстрота и необычайность последующих событий похоронили тот вывод в моем сознании, зато сейчас он стал мне ясен: я понял, что я совсем не знал моего брата, что все то, что он отдавал мне, – круглому сироте, стараясь вознаградить меня за бедность детства без материнской ласки и нежности, – было только небольшой частью сознания моего брата...

И вдруг, как маленький мальчик, я разрыдался. Я почувствовал себя еще более одиноким, обманутым чудесной иллюзией, которую я сам себе создал. Я принимал брата-отца за то существо, которое всецело принадлежало мне; у которого первой заботой был я и который всю ценность жизни видел во мне.

До этой минуты я полагал, что и он, как я сам, начинал и кончал свой день, идя мысленно рядом со мной и делая все дела обиходной жизни для того только, чтобы в конце какого-то периода жизни увидеться со мной и уже не разлучаться никогда более.

Теперь, в огромной внутренней борьбе, я разглядел в моем брате лицо другого, незнакомого мне человека. Я увидел ряд его интересов, не имеющих ко мне никакого отношения, его спаянность с другими, едва знакомыми мне людьми.

И в первый раз мелькнул у меня в сознании вопрос: «Что такое вообще брат? И кто настоящий брат? Какую роль играет родство людей по крови? Что ближе: гармония мыслей, чувств, вкусов или привязанность единоутробия?»

Я не замечал, что слезы продолжали литься из моих глаз. Но теперь это были не бурные рыдания ревнивого разочарования, какой-то иной, сладкий привкус получили мои слезы. Не то я временно похоронил что-то детское и прекрасное, не то рвал в себе старую привычку воспринимать людей как опору лично себе, – я как будто вращался в новую и чуждую еще мне шкуру мужчины, где слова «мать», «отец» и соединенная с ними нежность отходили на второй план. Не то я сладко мечтал о семье, которой не знал, семье, опорой которой должен был стать я сам.

Трудно рассказать теперь о тех юношеских переживаниях. Но, пожалуй, одну из капель горечи прибавляло сознание, что я так юн, так ребячлив и неопытен в делах жизни и так плохо воспитан.

Я приложил все усилия, чтобы остановить слезы. Стыдно было плакать так безудержно перед чужим человеком. И когда мысль перешла от сожалений о самом себе к брату, я вспомнил снова и письмо Али, и недавние слова Флорентийца. Я вытер слезы и, не глядя на моего спутника, тихо сказал:

– Простите меня, я не в силах был сдержаться. Я ждал обычного, быть может, дружеского соболезнования. Но то, что я услышал, еще раз показало мне, как плохо я разбирался в людях.

– Не раз в жизни я плакал так же горько, как плакали вы сейчас. И верьте, детство мы все хороним трудно. Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы сами не завоюем полную от них свободу. И только тогда рушатся наши иллюзорные желания всякой красоты вовне, когда оживет в нас все то прекрасное, что мы в себе носим. Все толчки скорби, потерь, разочарований учат нас понимать, что нет счастья в условных иллюзиях. Оно живет только в свободном добровольном труде, не зависящем от наград и похвал, которые нам за него расточают. В том труде, который мы внесем в свой обычный рабочий день как труд любви и радости, отдав его укреплению и улучшению жизни людей, их благу, их счастью. И. обнял меня и стал рассказывать историю своей жизни. Очнувшись от глубокого обморока, он увидел себя лежащим в крови среди друзей и родных. Погибло все, с чем он был с детства связан; он не знал, куда ему идти, что делать, вся семья его была убита. Он вспомнил, что у него была старая нянька, жившая в горах, недалеко от той долины, где стоял дом его родных. Но он не знал, к какой политической партии она примкнула. Быть может, и она убита так же, как и несколько семейств этой долины, своими вчерашними единомышленниками, а сегодняшними врагами.

Но раздумывать было некогда. И. спустился к морю, выкупался, переделся в чужое платье, кем-то оброненное или брошенное на берегу, и побрел, обливаясь слезами, по уединенной тропе, в другую часть острова к старой няне.

– Я не буду утомлять вас подробностями своей скитальческой жизни, – продолжал И. – Коротко скажу, что с помощью старушки, с ее деньгами я сел на пароход и поехал в Рим, где у нее был сын, способный ювелирных дел мастер, как она мне сказала. На пароходе я, вероятно, умер бы от горя и голода, если бы меня не нашел уже знакомый вам Кон-Ананда. В одну из ночей, уже совершенно изнемогая от лихорадки, в полусознании, я услышал над собой разговор на итальянском языке, который я хорошо знал от моей няни, родом итальянки.

Молодой звучный и прекрасный голос говорил:

– Что это? Никак здесь лежит мальчуган?

Другой, сиплый и грубый, как бы нехотя цедил слова сквозь зубы:

– Какой это мальчуган? Это целый мужик, смертельно пьяный.

Я не имел сил, хотя всей душой хотел закричать, что я не пьян, что я умираю от голода и холода и прошу помощи. Я уже приготовился умирать, и мелькнувшая было и уже исчезающая надежда на спасенье показалась мне еще одним надругательством судьбы надо мной. Тяжело ступающие шаги пошли прочь, унося с собой воркотню грубого голоса. Я думал, что и другой голос замрет вдали, как вдруг нежная сильная рука приподняла мою голову и горестное: «Ох», вырвалось, как стон.

Глаза я от слабости открыть не мог. Склонившийся надо мной незнакомец громко что-то закричал своему спутнику. Тот, нехотя, едва волоча ноги, снова подошел к нему. Повелительный тон молодого, в котором слышалась непреклонная воля, мигом привел ворчуна в другое настроение.

– Одним духом отправляйся за носилками и доктором, старый лентяй. Так-то ты следил за нашими вещами в трюме, что не видел, как здесь умирает человек.

– Виноват, барин, этот воришка, верно, только что пробрался сюда. Я проверял ящики, все было цело.

– Брось бессмысленную болтовню. Какой он воришка? Ведь это слабый ребенок! Мигом – носилки и доктора! Или ты снова отведешь моей палки.

Куда девалась шаркающая походка? «Есть», – выговорил слуга зычным басом и побежал так, как и я бы не смог, хотя бегал я, здоровый, хорошо.

– Бедный мальчик, – услышал я над собой тот же проникновенный голос. И как он был нежен, этот голос. Точно ласка матери, проник он мне в сердце, и жгучие, как огонь, слезы скатились по моим щекам. – Слышишь ли ты меня, бедняжка?

Я хотел ответить, но только стон вырвался из моих запекшихся губ, языком я двинуть не мог; он, точно мертвое, сухое, шершавое постороннее тело, не повиновался мне.

– Я спасу тебя, спасу во что бы то ни стало, – продолжал говорить незнакомец. – Мой дядя – доктор...

Но дальше я уже не слышал, я провалился в бездну. Когда я очнулся, я увидел себя в просторной, светлой комнате. Окна были открыты, постель была такая мягкая и чистая. Я подумал, что я дома.

Память унесла все грозное, что я пережил; и я стал ждать, что сейчас войдет мама, станет ласково меня бранить за леность. Она имела привычку говорить со мной по-немецки, хотя была гречанка. Но мать ее была немка, и она привыкла к этому языку как к своему родному.

Я все ждал ее милого: «Лоллион», но она что-то долго не шла. Тогда я решил ее попугать, как иногда проделывал это в раннем детстве, крича во все горло, а она делала вид, что страшно испугалась, складывала моляще свои прелестные руки и преуморительно говорила по-немецки:

– О господин охотник, право, крокодил меня сейчас проглотит. Пожалуйста, не теряйте времени на крик, убейте его скорее.

Я закричал, как мне показалось, во весь голос; но получился очень слабый звук, похожий скорее на долгий стон.

– Ну, вот он и очнулся, – сказал позади меня голос. – Мой дядя, вы не доктор, а чудово-волшебник.

С этими словами к кровати подошли два совершенно незнакомых мне человека.

Один из них, как вы, конечно, сами догадались, был Кон-Ананда, которого вам и описывать нечего; другой еще не старик, но гораздо старше. Приветливое лицо, ласковые карие глаза и какое-то необычайное благородство, манеры, мною еще не виденные, сразу объяснили мне, что это человек того высшего света, о котором пишут в романах, но который недоступен людям среднего класса. Я понял, что вижу впервые вельможу.

– Ну, дружок, теперь мы можем быть спокойны, что ты будешь совершенно здоровым человеком, – сказал вельможа по-итальянски. – Не можешь ли ты объяснить мне, какой сегодня день?

Я смотрел на него, совершенно ничего не понимая. Память еще не вернулась ко мне. Он налил в стакан какой-то жидкости, довольно сильно пахнувшей, и помог мне ее выпить. Я посмотрел на лицо Ананды и не узнал, конечно, в нем моего спасителя. Сон снова меня одолел. Когда я вновь проснулся, мне показалось, что возле постели сидит женская фигура. Я подумал, что это мама; но на этот раз я уже помнил о моем первом пробуждении и поэтому совсем не удивился, когда увидел Ананду. Я не мог ни в чем отдать себе отчет и механически заговорил по-немецки:

– Я видел только что маму. Зачем же она ушла?

– Она сильно устала, – ответил он мне. – Если я вам не очень неприятен, то позвольте мне вас накормить обедом. Хотя предупреждаю, что назвать обедом то, чем я буду вас кормить, нельзя. Доктор очень строг, и вам позволено есть только жидкие каши и кисели.

Он помог мне сесть в постели, и, как ни осторожно он это делал, я едва не упал в обморок. Он быстро дал мне глоток вина, и вскоре обед был кончен; но ему пришлось кормить меня с ложечки.

Такая моя жизнь длилась около месяца. И сколько раз я ни спрашивал о маме, она всегда или спала, или устала, или поехала за покупками. На мои вопросы, чья это комната, он всегда отвечал: «Ваша». Как-то раз я спросил, отчего няня не придет ко мне. Он ответил, что, если я помню ее адрес, он напишет ей, чтобы она приехала.

– Как же я могу не помнить адреса няни? – возмущенно сказал я. – Это все равно, как если бы я забыл адрес своей матери.

И я тут же продиктовал ему адрес няни, прося, чтобы завтра же она меня навестила. Он засмеялся и сказал, что, если достанет ковер-самолет, непременно слетает за ней сам. И здесь я опять ничего не понял.

Прошла еще неделя; меня навестил несколько раз вельможа-доктор и позволил встать. Это была сущая комедия, когда я с помощью Ананды попробовал первый раз встать. Роста для своих пятнадцати лет я был очень большого; а за время болезни я так вырос, что поразил даже доктора.

– Можно ли так быстро расти, дружок? – сказал он мне, смеясь. – Если ты будешь продолжать в таком же духе, тебя никто, даже няня, не узнает.

На этот раз я все же отдал себе отчет, что времени прошло довольно много, а няни все нет и мама все прячется. Я посмотрел на доктора. Но он, как бы не замечая моего молящего взгляда, помог мне надеть халат, и оба они с Анандой довели меня до окна, где стояло высокое кресло с подножкой; так что, сидя в нем, я мог любоваться открывавшимся из окна видом.

Я смотрел неотрывно вперед, на видневшееся вдали море; смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему я здесь живу? Ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места.

Лицо доктора было очень серьезно, хотя и очень спокойно. Он взял мою руку, держа ее, как считают пульс, но я был уверен, что он только хотел передать мне часть своей энергии и бодрости.

– Если ты хочешь видеть няню, – тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, – я могу ее позвать. Но я хотел тебе сказать, мой мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара. Ей, вероятно, придется сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным; думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своем горе, если оно тебя поразит; старайся только не допустить себя до слез, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в панталонах.

Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем снова приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря:

– Все движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растет и меняется непрерывно. Все, что носит в себе сознание как логическую мысль, все меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро изменяющихся обстоятельств, не умеет стать для них направляющей силой, – они его задавят, как мороз давит жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И, конечно, тот человек, кто не умеет – сам изменяясь – понести легко и просто на своих плечах новые обстоятельства, будет равен грибу или плесени, а не блеску закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли.

Я слушал и вбирал жадно каждое его слово, не спуская с него глаз.

Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но крепость ее такова, что вся жизнь моя не может отягчить той любви, что горит в этом человеке.

Какое-то почти благоговейное живительное чувство радости, благодарности, не испытанной еще мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднес к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал ее и ответил ему:

– Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным. Как подле вас мне чудно хорошо. Я точно вырос и весь переменялся.

Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал:

– Будь же мужествен сейчас. Как перенесешь ты встречу с няней, точно так начнешь и свою новую жизнь.

С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня.

Она вообще была старенькая, но сейчас я увидел перед собою совершенную руину. Но насколько поразила ее внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула ее.

Не успела она подойти ко мне, как всплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку моего кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моем сердце стало таять, как воск.

Хотя я и вырос в стране, где экзальтированные чувства легко обнажались в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную экзальтацию моей няни, вспыхивавшую, как спичка, сразу до яркого огня и так же мгновенно потухавшую, но на этот раз в ее рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы ее утешить. Среди ее причитаний я мог разобрать как припев: «Мой несчастный мальчик! Мой дорогой сиротка, у тебя нет даже родины».

Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить. Мысли, как тяжелые жернова, ворочались трудно и обрели весомость. Я до сих пор помню ощущение в голове, необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли.

Должно быть, вся кровь прилила к голове: я почувствовал острую боль в сердце, как укол длинной иглы, и вдруг сразу, точно в свете мелькнувшей молнии, вспомнил все.

Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчетливо понял, что все картины пережитого, одну за другой, я ясно и точно увидел...

Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода: «Я спасу тебя, мальчик».

Ананда глядел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питье. Я выпил и сказал ему:

– Благодарю вас. Благодарю за жизнь, которую вы мне спасли. Нет, не надо, – я отвел его руку с новым лекарством, – и теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример любви и заботы о чужом, брошенном человеке, который я здесь нашел.

Не понимаю, каким образом я все забыл. Я только тогда все вспомнил, когда голос няни и ее причитанья вернули меня в детство. И когда я услышал, что у меня нет даже родины, – я вспомнил все сразу.

Я не мог еще долгое время собраться с силами; дыхание мое стало так тяжело, точно мои легкие сдавил приступ астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок желтой сухой травы и поджег ее.

Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше.

– Где я сейчас? Это ваш дом? – спросил я Ананду.

– Это Сицилия, – ответил он мне. – Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших друг на друга партий еще не прекратилась, и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чем не повинных людей. Фанатики-политики режут не только друг друга, но даже иностранцев, что грозит войной всей вашей стране. Все это очень подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше двух месяцев. И весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас у смерти. Только на второй месяц вашей болезни он сказал мне, что вы в безопасности. А за две недели он точно определил день, в который к вам вернется сознание. Одно время он опасался неполноценного возврата вашего сознания. И потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход ваших мыслей. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле.

Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесен в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди у моей постели и как в беспамятстве и бреде я рассказывал им много раз всю свою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил, не помню ли я,

каким образом попал в трюм. Я не помнил или, может быть, даже не понимал, где этот трюм. Но помнил, что искал место, где бы спрятаться от людей и выплакать свою горе.

– Дальше история моя сложилась просто, – продолжал И. – Не буду вам рассказывать, сколько раз в моем сердце чередовались бури отчаяния, негодования и безысходного горя. Сколько раз я терзал сердца моих благодетелей и няни своими дикими рыданиями. Скажу только, что каждый из приступов моего раздражения не вызывал ни негодования, ни упреков моих новых друзей. Постепенно атмосфера постоянной ласки и высокой культурности стала вводить и меня в колею выдержки. Я понял, увидел наглядно, как я невежествен, что веду себя не деликатно, нарушая тихий ритм жизни моих спасителей, заполненной целиком научной работой доктора и диссертацией, которую тогда писал Ананда.

Я уже мог выходить, бродил по саду, даже спускался к морю. Но читать доктор мне не позволял, сказав, что, если хоть одна неделя пройдет без слез, – он разрешит мне читать. Желание начать читать и учиться было так велико, что я выдержал характер и ни разу не обнаружил своего горя, доверяя его только подушке по ночам.

Однажды в праздничный день доктор велел заложить коляску, и мы поехали с ним прокатиться, чтобы я мог полюбоваться красотами Сицилии. Природа казалась мне волшебной сказкой.

По дороге доктор спросил меня, хорошо ли я знаю историю своей родины. К стыду своему, я должен был признаться, что совсем не знаю. По возвращении с прогулки доктор провел меня в свой кабинет, где было так много книг, что я даже сел от изумления. Не только стены были ими заставлены, но через всю комнату шли до потолка полки с книгами, образуя узкие коридоры, в каждом из которых стояла передвижная лесенка. Доктор вошел в один из книжных коридоров и достал мне историю Древней Греции на немецком языке.

С этого дня началось мое обучение. Каждый из моих новых друзей находил возможность отрываться от своих дел, чтобы заниматься со мной. Я старался изо всех сил, так что моей старушке-няне приходилось жаловаться на свое одиночество; и только это заставляло меня бросать книги и уроки и идти с нею к морю.

Я обнаружил способности к математике, и мне дали шутовское прозвище «Эвклид». Так меня и звали мои наставники, одна няня кликала меня Лоллионом.

Шесть месяцев труда и тихой жизни вылечили меня совершенно. Вырос я еще больше, но оставался все таким же тощим, и горе мое так же разъедало мое сердце.

Однажды за обедом доктор сказал, что через неделю ему надо ехать в Рим, там пробыть месяц, а затем отправиться в Берлин по целому ряду дел.

– Не хочешь ли поехать со мной в качестве секретаря? – обратился он ко мне.

Я нерешительно посмотрел на Ананду, тот ласково мне улыбнулся, но молчал.

– Что тебе мешает? – снова спросил меня доктор. – Неужели тебе не хочется видеть мир, о котором ты столько читаешь в последнее время.

– Мне очень хочется видеть мир, особенно Рим. Кроме того, я был бы счастлив быть вам полезным и чем-нибудь отплатить за все то, что вы сделали для меня. Но я боюсь, что не сумею быть таким секретарем, какой вам нужен. Я все же постараюсь быть слугою честным и усердным. И еще меня смущает, – продолжал я, – как перенесет разлуку няня? Кроме меня у нее нет никого.

– У нее есть сын в Риме. Мы ее туда отвезем. Когда будем возвращаться, ты уже научишься разбираться в поездах и маршрутах, заедешь за ней в Рим и привезешь сюда. Решайся. Тем более что тебе придется когда-то вступать в жизнь и получить систематическое образование. Во время этого путешествия ты сможешь выбрать по вкусу место, где будешь учиться; а о далеком будущем не стоит думать.

Чтобы закончить в коротких словах мою – отныне счастливую – историю жизни, прибавлю, что через несколько дней мы выехали с доктором и няней в Рим, где ее оставили. Вы

сами понимаете, что я переживал, знакомясь с этим городом, с его памятниками, галереями, музеями и т. д. Тысячи раз я благословлял няню за свое знание итальянского языка, носясь по городу и исполняя поручения доктора.

Мы проездили, кочуя по разным местам, не два месяца, а целых полгода.

Чтобы продолжать занятия регулярно, я достал себе программу берлинских гимназий и, вставая ежедневно в шесть часов утра, готовился сдать экзамены за семь классов.

Однажды я поделился своей идеей с доктором. Он проверил мои знания, остался ими доволен и посоветовал вернуться домой. Там подзаняться с Анандой и сразу сдать экзамены на аттестат зрелости в Гейдельберге, где Ананда будет защищать диссертацию и проживет не менее года.

Я с благодарностью принял это предложение. Мы побывали еще и в Вене по делам доктора и там расстались. Я направился через Венецию в Рим, а он в свое имение в Венгрии, сказав, что будет жить там год или два и мы с Анандой и няней приедем туда на летние каникулы.

С тех пор так и шла моя жизнь. Я много учился и немало повидал: путешествовал по Египту и Индии, видел разных мудрецов и ученых, артистов и художников, но выше доктора не встретил никого. Случайно его поручение свело меня с Али и Флорентийцем, в которых я увидел силу, знания, доброту и честь, не уступавшие тем, какими обладал мой великий друг-доктор. Тесная дружба, связывавшая их между собою, была раскрыта и мне с Анандой.

Теперь я уже подхожу к тому периоду дружбы с Али, когда я приехал гостить к нему в К. и познакомился с вашим братом. Вы, конечно, лучше меня знаете своего брата. Я же могу сказать, что сила его духа, воля, любовь к человеку, огромный ум и знания ставят этого офицера-самоучку, прожившего свою жизнь в захолустье, выше почти всех тех, кого я встречал в жизни, и почти наравне с теми моими великими друзьями, о которых я вам рассказывал.

Не стесняйтесь же меня. Я вынес страданье; я знаю бездну человеческого горя; и мое сердце, сгоревшее однажды в скорби, неспособно осуждать встретившегося или тяготиться его горем и слезами. Я научился видеть в человеке брата.

Долго длилась еще наша беседа; мы пропустили завтрак, и сейчас нас уже звали обедать.

Я позабыл о себе, о своей жизни. Образный рассказ И. – он словно резцом высекал свои истории, так четки были его слова и мысли, – увлек меня в водоворот жизни другого мальчика, гораздо более несчастного, чем я.

И. предложил мне умыться и пойти обедать. Я не возражал, понимая, что легче всего будет нам обоим сейчас в молчании посидеть за едой. Когда мы вернулись в свой вагон, то нашли Ананду и Флорентийца беседующими в коридоре с кем-то из пассажиров.

Я так обрадовался Флорентийцу, будто целый год его не видел. Еще раз понял я, как цельно, всем пылом одинокого сердца я привязался к нему за это короткое время. Он радостно протянул мне обе руки, которые я сжал в своих.

– Как я соскучился без вас, – смеясь, сказал я ему.

– А я-то думал угодить тебе, так как научился еще спать в твоём вкусе, – ответил он мне, тоже смеясь. – Но не очень-то ты любезен по отношению к И., – продолжал он, все еще смеясь. – Я надеюсь, Эвклид, ты не замучил моего братишку математикой?

– Нет, нет, ваш друг И. так помог мне своей беседой, что я теперь стал умней сразу на двадцать лет, – вскричал я.

Все засмеялись. Флорентиец, обняв меня за плечи, состроил преуморительную гримасу лорда Бенедикта и спросил:

– Неужели же в моем обществе ты стоял на месте или вовсе поглупел?

Я снова почувствовал, как надо следить за каждым словом, вздохнул и, не зная, что ответить, перевел глаза на И. Тот сейчас же сказал Флорентийцу, что всем известен его неподражаемый флорентийский талант ловить людей на слове.

Но что он, Эвклид, недаром сильнее его как математик и уж однажды как-нибудь поймает самого Флорентийца тоньше, чем он меня сейчас.

Я предложил Флорентийцу устроить для него обед в купе, на что особенно весело отозвался голодный Ананда. И я отправился к проводнику проявлять свой организаторский талант.

Вскоре в купе была подана лучшая вегетарианская еда, какая только нашлась в поезде. И мы с И. – только что отобедавшие – тоже приняли в ней некоторое участие.

Нам оставалось ехать до Москвы только одну ночь, и рано утром я мог надеяться увидеть брата. Я так унесся мыслями к предстоящему свиданию, столь живо представил себе, как теперь по-новому буду смотреть на него, что перестал замечать и слышать что бы то ни было вокруг.

Внезапно что-то мокрое заставило меня вздрогнуть. Это Флорентиец намочил кусок салфетки в воде и положил мне на руки. Я опомнился, поднял глаза и даже оторопел. Три пары совершенно разных глаз одинаково пристально смотрели на меня. Я так смешался, когда все засмеялись, что покраснел до корней волос, пришел в раздражение и чуть было не рассердился. Но смех друзей был так добродушен, и, должно быть, размечтавшись, я представлял собой занятную картинку, а потому и сам расхохотался, вспомнив, что ведь я же «Левушка-лови ворон».

– Грезы о Москве, Левушка, – сказал Флорентиец, – дело законное и очень нужное. Но тебе следует настроить себя таким образом, чтобы не личное счастье от свиданья с братом было для тебя целью, а твоя помощь ему.

Опять меня удивило, что он прочел мои мысли. Когда я сказал, что поражен его способностью отвечать на невысказанные мысли, он уверил, что в этом так же мало чуда, как в его ночной беседе с проводником. И рассказал мне, что жена проводника жива, что в Самаре тот получил ответ на свою телеграмму.

Я почувствовал, как поверхностен мой интерес к людям по сравнению с тем глубоким вниманием к ним, которое отличает Флорентийца. Я ведь и думать забыл о проводнике и его горестях.

Между тремя моими новыми знакомыми завязался разговор о предстоящих действиях в Москве. Флорентиец не сомневался, что наше пребывание там будет осложнено фанатиками из К., что все свои усилия они направят на то, чтобы изловить меня и допытаться, где мой брат и похищена ли им Наль. Что легенде о сгоревших в доме брата людях преследователи или не верят, или даже сами сожгли кого-нибудь из мести, воспользовавшись удобным случаем. Поэтому он предложил остановиться в одной из гостиниц всем вместе. Мы с Флорентийцем займем один номер, а рядом поселятся Ананда и Эвклид. Он настрого запретил мне выходить куда-нибудь одному и в гостинице держаться только с кем-либо из них троих. Я не совсем понимал, каким образом мне могут грозить беды, но обещал исполнить все в точности.

Время прошло незаметно. И. рассказывал эпизоды из своих путешествий по Индии; Ананда поведал о страшной ночи в С., где ему удалось спасти женщину, приговоренную фанатиками к избиению камнями.

Настала ночь. Я лег раньше всех, чувствуя полное изнеможение от массы новых впечатлений и мыслей. Проснулся я, расталкиваемый Флорентийцем, и услышал фразу невероятно меня поразившую, потому что мне казалось, что я спал не более часа:

– Подъезжаем к Москве.

Глава VIII

Еще одно горькое разочарование и отъезд из Москвы

Как только мы вышли из вагона, целая орда служащих всевозможных гостиниц – в куртках или ливреях, в кепи или шапках, с обозначением названия своих заведений – стала зазывать нас, предлагая кареты, коляски и т. д.

Впереди шел Ананда, как бы высматривая кого-то; посередине шли мы с Флорентийцем, сзади И. Завершалось наше шествие носильщиками с чемоданами.

Зычные выкрики названий гостиниц, торги пассажиров со стаей извозчиков в длинных синих поддевах, с кнутами в руках, накидывавшихся десятками на одного пассажира, – все это было так забавно, что я снова забыл обо всем, увлекся наблюдениями и готов был, смеясь, остановиться. Флорентиец слегка подтолкнул меня, я перестал таращить глаза по сторонам и увидел, что из толпы гостиничных слуг отделился один, с надписью на кепи «Националь», и приветствовал Ананду, весьма почтительно держа руку у козырька.

Через несколько минут мы уселись в отличное ландо и покатали в центр города.

Я давно не видел Москвы, и по сравнению с Петербургом она показалась мне грязным, провинциальным городом с незначительным движением. Улицы, по которым мы ехали, узкие, искривленные, с низенькими домами, часто деревянными, со множеством церквей, церквушек и часовен, с перезвоном колоколов, несшимся со всех сторон, производили впечатление патриархальности. Глядя на эти церкви, я невольно подумал, что русский народ, должно быть, очень религиозен. Я спрашивал себя, могут ли русские дойти до глубокого фанатизма, подобно магометанам, которые слишком рьяно служат своему Богу.

Я стал думать о себе самом: что для меня Бог и как живу я с Ним и в Нем? Мешает ли мне моя религия или помогает? Посещая церковь раз в неделю со всей гимназией, я видел в этом лишь развлечение в нашей монотонной жизни; и ни разу не пробовал искать в Боге облегчение, не докучал Ему своими жалобами, а стоял в церкви и просто наблюдал.

Мы ехали молча, изредка перекидываясь незначительными замечаниями; но я инстинктивно чувствовал, что всех тревожит мысль о судьбе брата и Наль.

Войдя в вестибюль гостиницы, мы взяли номера, как условились раньше.

Флорентиец спросил, нет ли почты на имя лорда Бенедикта, и – к моему удивлению – очень важный и осанистый портье подал ему две телеграммы и два письма.

– Письма ждут вашу светлость уже два дня; а телеграммы – одна ночная, другая сию минуту подана, – почтительно прибавил он.

Водворившись в номере, я едва дождался, пока коридорный перестанет возиться с нашими вещами и выйдет. Я бросился к Флорентийцу, спрашивая, не от брата ли письмо, мне показалось, что я узнал его почерк на одном из конвертов. Он, улыбаясь, подивился, что я – такой всегда рассеянный, – мог издали узнать почерк того, кого люблю. Видя мое нетерпение, он взял письмо брата, подал его мне и сказал:

– Когда Али говорил с тобой в саду, он предупредил тебя, что жизнь брата, твоя и Наль зависят от твоего мужества, выдержки и верности. Читая теперь письмо, думай не о себе, а только о том, как ты можешь ему помочь.

Сердце мое сжалось. Предчувствие подсказало, что сегодня я брата не увижу, а я так на это надеялся.

Я прочел письмо, еще раз перечитал его и все никак не мог собраться с мыслями и прийти к какому-либо выводу.

Брат писал, что уехать из К. им удалось незамеченными: что слуги были переодеты восточными женщинами, Наль ехала в европейском костюме, который приготовил ей Али, а

сам брат был в штатском платье. Причем все они сели в разные вагоны и только в Москве, переодевшись в дороге еще раз, сошлись все вместе.

В Москве вся компания благополучно пересела в петербургский поезд, поскольку друзья предупредили их, что пароход в Лондон отходит в воскресенье; поэтому времени на остановку и свидание в Москве не оставалось.

Брат посылал мне свою любовь и просил простить его за беспокойство и огорчения, которые он доставил мне вместо отдыха. Он просил Флорентийца не оставлять меня, если я не поспею на тот же пароход.

«Поспею на пароход», – несколько раз печально и горько повторял я мысленно.

– Воскресенье – это сегодня, – наконец сказал я Флорентийцу. Против моей воли я таким тоном выговорил эту фразу, точно вернулся с похорон и объявлял ему об этом.

– Да, это сегодня. Им удалось проскочить благодаря тому, что друзья Ананды и Али отвлекали внимание главарей-фанатиков и пустили погоню по ложному следу, – ответил он. – Но вот письмо Али и две его телеграммы. За нами следом идет погоня. Мулла и главари решили, что ты конечно же последуешь за братом. И по твоим следам ведено отыскать их, пусть даже на краю света. Если же будет возможность, захватить тебя и, рассчитывая на твою молодость, запугать всяческими угрозами и вызнать все, что им нужно.

– Значит, будь такая возможность, я все равно не смог бы поехать с братом. В таком случае не стоит об этом и думать, – сказал я, стараясь стряхнуть с себя все иные мысли, кроме мысли о жизни и безопасности брата. – Что же теперь мы, а в частности я, будем делать? С вами мне всюду хорошо.

Теперь вся жизнь моя в вас одном, вы спасете брата, я в этом уверен.

Располагайте мною так, как найдете нужным для дела. Повторяю, сейчас для меня в жизни – вы все.

– Ты – настоящий брат – сын своего брата-отца. Поверь, за эту минуту героизма ты будешь вознагражден большим счастьем. Кто умеет действовать, забывая о себе, тот побеждает, – ответил мне Флорентиец, ласково меня обняв.

– Али предупредил в письме, что сообщит дополнительно, будет ли за нами погоня. Первая телеграмма подтверждает это, во второй говорится, кто идет по нашему следу. Это два молодых купца, которые едут в Москву будто бы за товаром; один говорит только на своем родном языке и еще по-русски; другой знает немецкий и английский. Али пишет, что оба они – приятели жениха Наль.

Можно представить, что они намереваются делать и как. Вещи, переданные тебе для Наль, – это не обиходные вещи, их надо непременно переправить ей и как можно скорее. Предлагаю тебе вот какой план. Вещи Наль я отвезу сам; сегодня же сяду в курьерский поезд, идущий в Париж, оттуда проеду в Лондон и буду там раньше их. Тебе же следует немедленно, уже через два часа, вместе с Эвклидом выехать в Севастополь, а оттуда морем добраться до Константинополя и дальше пробираться в Индию, в имение Али. Ананде собираюсь предложить оставаться здесь целый месяц под предлогом дел, держать связь со всеми нами и наблюдать за действиями врагов. Я буду полезен и даже нужен твоему брату и Наль, которые могут оказаться беспомощными без опытного друга в первое время, в совершенно новых для них условиях. Да и в смерти брата твоего надо всех уверить, чтобы раз и навсегда покончить с преследованием. Через три-четыре месяца и я приеду в Индию. Я думаю устроить наших беглецов в Париже, когда все образуется.

Я молча слушал. Не то чтобы во мне все окаменело. Нет, я переживал нечто похожее на то, что должны ощущать люди, когда внезапно умирают их любимые. Я точно стоял у глубокой могилы и видел в ней гроб.

Я машинально встал, открыл чемодан, где находились вещи Наль, и стал вынимать оттуда свои, каждая из них резала меня точно ножом.

– Вы, вероятно, не захотите нарушать порядок, в каком были уложены вещи.

Вот эти деньги мне подарил Али-молодой. Они мне не нужны, так как для той далекой поездки, в которую вы меня посылаете, они не годятся, да и мало их.

Пусть это будет мой подарок брату. Купите в Париже прекрасный футляр, в виде золотой или серебряной коробки, – на какую хватит денег, – и вложите в нее вот эту записную книжку его, которую я так непростительно забыл в доме Али, – говорил я Флорентийцу, подавая ему чудесную книжку брата с павлином. – Я готов. Но разрешите мне сопровождать И. в качестве его слуги, чтобы я мог зарабатывать тот кусок хлеба, который до сегодняшнего дня ел из рук моего брата, – продолжал я.

– Мой милый мальчик, – сказал мне на это Флорентиец, – когда ты приедешь в Индию, станешь учиться. Ты многое узнаешь и поймешь. Пока же доверься мне.

Будь не слугой, а другом Эвклиду. Твой талант к математике и музыке еще не все, чем ты обладаешь. Разве ты не чувствуешь в себе писательского дара?

Я покраснел до пота на лице. Я никогда бы не поверил, что самое заветное, от всех сокрытое мое желание – и то он сможет подсмотреть.

Но времени на дальнейшие разговоры не оставалось. Вошли Ананда и И., и Флорентиец поведал им свой новый план. Меня очень удивило, что ни один из них не возразил ни словом; оба приняли его распоряжения, как не подлежащие даже обсуждению.

Ананда позвонил и велел заказать сейчас же два билета в Севастополь и отвезти двоих к поезду; а в номер подать нам завтрак.

– И на вечерний поезд в Париж купите один билет, – прибавил он.

Мы уложили мои вещи во вместительный саквояж Флорентийца, который он мне подарил.

– Там ты найдешь мой сюрприз, – смеясь, сказал он мне. – Как только почувствуешь могильное настроение, – так и поищи его. Вот последний мой завет тебе: помни, что радость – непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся.

Тут принесли наш завтрак: явился портье, говоря, что у него остались на руках два билета в Севастополь в международном вагоне, которые он собирался отослать в кассу вокзала в ту минуту, когда пришел наш заказ. Билеты взяли, вещи отдали слуге; и мы сели завтракать. Через полчаса мы с И. должны были ехать на вокзал.

Как я ни боролся с собой, но есть я ничего не мог, хотя с вечера ничего не ел. Сердце мое разрывалось. Я так привязался к Флорентийцу, что будто второго брата-отца хоронил, расставаясь с ним сейчас. Все старались сделать вид, что не замечают моей печали. Я думал: откуда у этих людей столько самоотверженности и самообладания? Почему они так уравновешенны, стремительно идя на помощь чужому им человеку, моему брату; в чем находят они ось своей жизни, почву своему уверенному спокойствию?

И снова пронизала сердце мысль – кто человеку «свой», кто ему «чужой»? Мелькали в памяти слова Флорентийца, что кровь у всех людей одинаково красная и потому все братья, всем следует нести красоту, мир и помощь.

В кружении мыслей я не заметил, как кончился завтрак. Флорентиец погладил меня по голове и сказал:

– Живи, Левушка, радуясь, что жив твой брат, что ты сам здоров и можешь мыслить. Мыслетворчество – это единственное счастье людей. Кто вносит творчество в свой обыденный день – тот помогает жить всем людям. Побеждай любя – и ты победишь все. Не тоскуй обо мне. Я навсегда твой друг и брат.

Своей героической любовью к брату ты проложил дорогу не только к моему сердцу, но вот еще твоих два верных друга, Ананда и Эвклид.

Я поднял глаза на него, но слез сдержать не смог. Я бросился ему на шею, он поднял меня на руки, как дитя, и шепнул:

– Уроки жизни никому не легки. Но первое правило для тех, кто хочет победить, – уметь улыбаться беззаботно на глазах у людей, пусть даже в сердце сидит игла. Мы увидимся, а вести обо мне будет посылать тебе Ананда.

Он опустил меня на пол, весело ответив на стук в дверь. Это портье пришел сообщить, что пора ехать на вокзал.

Мы с И. простились сердечным пожатием рук с Флорентийцем и Анандой, спустились за портье вниз, сели в коляску и двинулись на вокзал. Мы ехали молча, не обменявшись ни словом. Только раз, при досадной задержке из-за какого-то уличного происшествия, И. спросил кучера, не опоздаем ли мы на поезд. Тот погнал лошадей, но все же поезд тронулся, едва мы успели войти в вагон.

Глава IX

Мы едем в Севастополь

Я столько провел времени в вагоне и чувствовал такое сильное головокружение, что вынужден был лечь. И. достал из своего саквояжа пузырек с каплями, накапал в стакан с водой несколько капель и подал мне, говоря: «Когда я был болен, Ананда всегда давал мне эти капли». Я выпил, мне стало лучше, и я незаметно для себя заснул. Когда я проснулся, И. стоял, смеясь, надо мной и говорил, что уже собирался брызгать мне в лицо водой, так я долго спал, а он умирает от голода. На самом деле было уже семь часов вечера, и надо было поторапливаться. Я быстро привел себя в порядок, проводник запер наше купе, и мы отправились в вагон-ресторан.

Здесь публика была совсем иная, чем в поезде, шедшем к далекой окраине Азии. Курьерский поезд по недавно проложенной линии мчал в Севастополь богатую публику, направляющуюся на модные курорты: Ялту, Гурзуф, Алупку и т. д. В вагоне-ресторане все уже сидели на своих местах. Лакей, посмотрев наши обеденные билетки, провел нас к столику, за которым сидели две дамы.

Я сконфузился, ведь я совсем не привык к дамскому обществу, но, посмотрев на И., был очень удивлен, потому что он вел себя так, как будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за дамами. Он снял свою шляпу, вежливо поклонился старшей даме и сказал по-французски:

– Разрешите нам сесть за ваш стол?

Дама приветливо улыбнулась, ответила на поклон и сказала довольно низким приятным голосом: «Прошу вас», на прекрасном французском языке.

И. взял наши шляпы, положил их в сетку над столиком и пропустил меня к окну, заняв крайнее место у прохода. Я чувствовал себя очень неловко, старался смотреть в окно, но все же исподтишка разглядывал соседку.

Старшая дама, далеко еще не старая, была красиво и элегантно одета.

Темные волосы, темные глаза, несколько выпуклые, были, вероятно, близоруки.

Она была полновата и, судя по ее белым холеным рукам, никогда не работала, да и вряд ли играла на рояле, ведь от постоянных ударов по клавишам кончики пальцев расширяются и кожа на них грубеет. Эти же руки были просто руками барыни. Лицо ее не светилось ни умом, ни вдохновением. Я посмотрел на ее зубы и губы – все в ней показалось мне банально красивым, но грубой, чисто физической красотой. И она перестала возбуждать во мне какой бы то ни было интерес.

Тут подали мясной суп. И. сказал лакею, что заказывал специальный вегетарианский обед. Лакей извинился и отправился за объяснением к метрдотелю.

Это недоразумение послужило старшей даме поводом для разговора с И., который, как мне показалось, произвел на нее большое впечатление. Пока старшие сотрапезники занимались обсуждением пользы и вреда вегетарианства, я перенес свое внимание на другую нашу соседку.

Это была совсем молоденькая девушка, почти ребенок. На вид ей было не более пятнадцати лет. Светлая блондинка, такого же золотистого оттенка, как мой брат, она уже одним этим сходством завоевала мои симпатии. Я невольно смотрел на нее, пользуясь тем, что она сидела с опущенными глазами. Личико у нее было худое, черты правильные, лоб высокий с бугорками над бровями.

«Очень музыкальна», – подумал я.

Девушка, должно быть, в первый раз обедала в вагоне-ресторане. Она прилагала все усилия, чтобы не расплескать суп с ложки, но это ей удавалось плохо.

Заметив, что я бестактно уставился на девушку, И. задал мне какой-то вопрос, желая вовлечь меня в общий разговор и освободить от моих взглядов и без того сконфуженную соседку. Он выразительно на меня посмотрел, и я понял, что в моем поведении что-то не соответствовало поведению хорошо воспитанного человека.

Оказывается, старшая дама просила меня передать ей горчицу, а я не слышал ее слов. И. повторил просьбу, я совсем переконфузился, подал ей горчицу, извинился на французском же языке, вспомнив одно из наставлений брата, что хорошо воспитанные люди должны отвечать на том же языке, на каком к ним обратились.

Сумбурные мысли о том, как трудно быть хорошо воспитанным человеком, сколько для этого надо знать условностей и в них ли сила хорошего воспитания, – промчались не в первый раз в моей голове.

И. извинился за мою рассеянность, говоря, что я перенес тяжелую болезнь и еще не успел окончательно поправиться. Дама сочувственно кивала головой, приняв меня за сына И., чему я весело посмеялся, а И. объяснил, что я ему друг и дальний родственник.

Я хотел спросить, не дочь ли ей молоденькая барышня, но в это время она сама сказала, что везет свою племянницу в Гурзуф, где у ее сестры, матери Лизы, дача возле самого моря.

Лиза все молчала и не поднимала глаз; а тетка рассказывала, что Лиза только что окончила гимназию, очень утомлена экзаменами и должна отдохнуть в тишине.

– Лиза у нас талант, – продолжала она, – у нее огромные способности к музыке и очень хороший голос. Она учится у лучших профессоров Москвы; но отец против профессионального музыкального образования, что и составляет Лизину драму.

Тут произошло нечто необычайное. Лиза вдруг внезапно подняла глаза, оглядела всех нас и твердо посмотрела на И.

– Вы не верьте ни одному слову моей тетки. Она ни в чем не отдает себе отчет и готова выболтать каждому встречному всю подноготную, – сказала она дрожащим тихим, но таким певучим и металлическим голосом, что я сразу понял, что она, должно быть, чудесно поет.

На щеках Лизы горели пятна, в глазах стояли слезы. Она, видимо, ненавидела тетку и страдала от ее характера. И. мгновенно налил капель в воду из своего пузырька и подал ей, сказав почти шепотом, но так повелительно, что девушка мгновенно повиновалась:

– Выпейте, это сейчас же вас успокоит.

Через несколько минут девушка действительно успокоилась. Красные пятна на щеках исчезли, она улыбнулась мне и спросила, куда я еду. Я ответил, что еду пока в Севастополь, какой маршрут будет дальше, еще не знаю. Лиза удивилась и сказала, что думала, что мы едем в Феодосию или Алушту, ибо греки большей частью живут там.

– Греки? – спросил я с невероятным изумлением. – При чем же здесь греки?

Лиза в свою очередь широко раскрыла свои большие серые глаза и сказала, что ведь мой родственник такой типичный грек, что с него можно лепить греческую статую. Мы с И. весело рассмеялись, а тетка, кисло усмехаясь, сказала, что Лиза, как и все музыкально одаренные люди, неуравновешенна и слишком большая фантазерка.

И. спорил с нею, доказывал, что люди одаренные вовсе не нервноболезные, а наоборот, они только тогда и могут творить, когда найдут в себе столько мужества и верности любимому

искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, а в полном спокойствии и самообладании радостно несут свой талант окружающим. Тетка заявила, что для нее это слишком высокие материи, а Лиза вся превратилась в слух, глаза ее загорелись, и она сказала И.:

– Как я много поняла сейчас из ваших слов. Я точно сама себе все это не раз говорила, так мне ясны и близки ваши слова.

Видно было, что ей о многом хотелось спросить, чего нельзя было сказать о тетке. Такая любезная и кокетливо поглядывавшая на И. в начале обеда, – сейчас она едва скрывала скуку и досаду.

– Вот вам бы с моей сестрой познакомиться. Она вечно летает в заоблачных высях и, кроме своих цветов, музыки и книг, ничего в жизни не видит и не замечает. Даже того, что делается под самым ее носом, – несколько тише и более ядовито прибавила она.

Лицо ее отвратительно исказилось от зависти и ревности, очевидно уже давно разъедавших ее сердце.

Лиза стала так бледна, побелели даже ее розовые губы, что я испугался и быстро протянул ей стакан с водой. Но она не заметила моего движения; ее потемневшие глаза сразу провалились, под ними легли темные тени, и от девушки-ребенка не осталось и следа. Глядя прямо в глаза тетке ненавидящим взглядом, она сказала тихо и раздельно:

– Можно делать подлости, если есть вкус к ним. Можно быть и глупым, раз уж в мозгу чего-то недостает; но чтобы так выдавать себя первому встречному – для этого надо быть более чем просто глупой. Вы отравили маме ее молодость, мне – детство. Вы всю жизнь пытались встать между папой и нами. Вам это не удалось, потому что папа честный человек и любит нас с мамой. Неужели же мамину и мою деликатность и сострадание к вам вы принимали за нашу близорукость или глупость? Я бы и сейчас промолчала, если бы ваша наглость не была так возмутительна.

Трудно передать, что произошло с теткой. От всей ее чувственной красоты, от внешнего барского лоска ничего не осталось. Перед нами сидела вмиг постаревшая женщина, не умевшая сдерживать бешенства и тихо выплевывавшая ругательства:

– Девчонка, дура, подлая шпионка, дрянь, – я тебе отплачу. Я все расскажу дедушке и отцу.

Девушка с мольбой взглянула на И. На наш стол, несмотря на грохот колес и шум вентиляторов, кое-кто уже стал обращать внимание. И. подозвал лакея, заплатил за всех и за всех же отказался от кофе. Он встал, достал наши шляпы и, твердо взглянув на тетку, сказал ей очень тихо, но повелительно:

– Встаньте, дайте пройти вашей племяннице. Поезд сейчас остановится, мы пройдем с ней по перрону. Вы же ступайте в ваше купе через вагоны. Придите в себя, вы потеряли всякий человеческий облик. Постарайтесь скрыть под улыбкой свое бешенство.

Говоря так, он стоял, склонившись к ней в вежливой позе, подавая упавшие сумочку и перчатки.

Ни слова не ответив, она встала и прошла мимо столиков к выходу, не дожидаясь нас.

И. помог Лизе выйти из-за тесно поставленных стульев, прошел вперед, открыл дверь и пропустил девушку. Выйдя вслед за ними из вагона, я немного отстал; мне хотелось побыть одному, чтобы разобраться в этой чужой жизни, завеса которой приподнялась передо мной так внезапно и безобразно. Но И. остановился, подождал, пока я подойду, и сказал мне:

– Не отставайте от меня ни на шаг, друг. Какие бы драмы или приятные развлечения ни встретились нам в пути, мы не должны забывать нашей главной цели.

Он взял меня под руку, и мы втроем стали прогуливаться по платформе, войдя в вагон уже после второго звонка.

Каково же было мое удивление, когда я увидел, что тетка стоит в коридоре нашего вагона и весело флиртует с каким-то не особенно старым генералом.

Оказалось, что купе наших соседей по столу было через два отделения от нас.

Как ни в чем не бывало тетка обратилась к нам, сказав, что уже стала беспокоиться, не похитили ли мы ее племянницу. И. в тон ей отвечал, что ни он, ни я на людей, занимающихся романтическими похождениями, как будто бы не похожи, но что мы очень польщены, конечно, если по ее мнению имеем вид донжуанов.

Очень корректно раскланявшись с теткой и племянницей, – причем я тоже старался щегольнуть элегантностью манер, – мы вошли в свое купе. И. сказал Лизе, что книгу, которую он ей обещал, пришлет с проводником.

Бедной девушке, очевидно, было жутко расставаться с нами. Ее личико, и без того худое, еще больше осунулось.

Когда мы остались одни, я хотел было поговорить о наших новых знакомых, но И. сказал мне:

– Не стоит сейчас об этом. Нам с тобой, повидавшим в жизни немало скорби, надо хорошенько думать о каждом своем слове. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Вся жизнь – вечное движение; и это движение творят мысли человека. Слово – не простое сочетание букв. Даже если человек не знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно сотворить и пробудить неосторожно брошенным словом, – даже тогда нет безнаказанно брошенных в мир слов. Берегись пересудов не только на словах; но даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить им в душу мир, хотя бы на одну ту минуту, когда ты с ними. Подумаем лучше, что сейчас делают наши друзья.

Флорентиец, по всей вероятности, садится в поезд на Париж, а Ананда его провожает.

Он точно унесся в далекую Москву, и взгляд его стал отсутствующим. Сам он, опершись головой о спинку дивана, сидел неподвижно; и я подумал, что у каждого человека, очевидно, своя манера спать, а я как-то не присматривался до сих пор к тому, как спят люди. Флорентиец спал, точно мертвец, И. спал сидя, с открытыми глазами, но сон его был так же крепок, как сон Флорентийца.

Думая, что будить И. и нельзя, и бесполезно, я тоже перенесся мыслями в Москву.

Теперь, расставшись впервые за эти дни с Флорентийцем, к которому так прильнул всем сердцем, я почувствовал всю глубину удара, который нанесла мне жизнь этой разлукой. С самого рождения и до разлуки с братом я видел на своем пути один свет, один собственный дом, одного неизменного друга: брата Николая. Теперь я разлучен с братом – погас мой свет, рухнул мой дом, исчез мой друг. Подле Флорентийца, несмотря на все тревоги, полное отсутствие какого-либо дома, непрерывные опасности и неутрачиваемые страдания о брате, я чувствовал и сознавал, что в нем для меня – и свет, и дом, и друг. Чувство полной защищенности, мира в сердце – даже когда я плакал или раздражался – не покидало меня где-то в глубине. Я был уверен, каждую минуту уверен, что в лице Флорентийца я не только имею «дом», но что в этом доме смогу жить, учась и совершенствуясь, чтобы стать достойным своего друга.

Сейчас, думая о том, что Флорентиец уезжает в Париж, а я еду на Восток, – пусть в другие места, но все же на тот Восток, знакомство с которым мне принесло так много горя, – я осознал, как я бездомен, одинок и брошен судьбою в вихрь страстей. Я могу быть лишь их игрушкой, потому что не только ничего не видел и не знаю, но даже не сумел себя воспитать и приготовить к жизни.

Ни одна струна в моем организме не была настроена так, чтобы я мог на нее положиться. При всяком сердечном ударе я плакал и терялся, словно ребенок.

Тело мое было слабо, не закалено гимнастикой, и всякое напряжение доводило меня до изнеможения и обмороков. Что же касается силы самообладания и выдержки, точности и четкости в мыслях и во внимании, – то тут дисциплины во мне было еще меньше.

Я смотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки. Природа находилась в полном расцвете своих сил. Мелькали зеленые луга, колосющиеся поля, живописные деревушки. Все говорило о яркой жизни! Кому-то были близки и дороги все эти поля, сады и огороды. Целыми семьями работали на них люди, находя кроме любви к своей семье и общую любовь к этой земле, к ее красотам, к ее творчеству.

А я один, один – всюду и везде один! И во всем мире нет ни угла, ни сердца, про которое я знал бы – вот «мое» пристанище.

Погруженный в свои горькие мысли, я забыл об И.; забыл, где я, унесся в сказочный мир мечтаний, стал думать, как буду стремиться стать достойным другом Флорентийца, таким же сильным, добрым и всегда владеющим собой.

Невольно мысль моя перебросилась на его друзей – И. и Ананду. Их поступки, полные самоотречения, ведь они бросили все по первому зову Флорентийца и едут помогать брату и мне – людям им совершенно чужим, очаровывали меня высотой благородства.

Внезапно в коридоре послышался сильный шум и женский крик: «Доктора, доктора».

Оторванный от своих грез, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за чемодан, который стоял у столика, и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки И.

– Нос разобьешь, Левушка, – уморительно копируя старушечье шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьезной фигуре И., что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал.

– Подожди здесь, друг, – проговорил он уже своим обычным голосом. – Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь, но ты все же не выходи из купе, если я не приду за тобой. Все время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, – сказал он, посмотрев на часы. – Ведь Флорентиец отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. Ананда живет в Москве тоже ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным?

В эту минуту кто-то постучал в наше купе. И. ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь.

У порога стоял давешний генерал, с которым флиртowała тетка, и еще какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора – принимая И. за такового – помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе; никто не может привести ее чувство, хотя ее тетка уже более часа употребляет к этому все обычные средства.

И. только спросил, зачем же раньше к нему не обратились, захватил походную аптечку из того саквояжа, что вручил мне Флорентиец, и ушел вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами.

Я выплянул в коридор, куда высыпали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растеряннo-вопросительное лицо, – и в руках какой-либо флакон. Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной тетке привести в чувство девушку.

Я закрыл дверь, убрал в сетку чемодан, о который я так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, впавшей в такой глубокий обморок. Я вспомнил ее худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же не крепка, как и я; и так же невыдержанна и плохо воспитана, – в смысле самообладания.

«Вот, – думал я, – у нее есть и мать, и отец; есть дом и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь ее вряд ли веселее моей, если приходится жить и ездить с теткой, которую ненавидишь».

Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом до такой глубокой сердечной боли мог дойти в родительском доме ребенок. Как, изо дня в день, ее должна была угнетать атмосфера жизни родителей, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня.

Я сравнивал ее с собой и всем сердцем искал оправдания ее поступку, памятуя, что недавно сказал мне И. Мне припомнились мои слезы за последние дни; как горько я плакал – и тоже перед чужими мне людьми, я – мужчина, старше ее на добрые пять лет.

И звучавший лейтмотивом этих дней вопрос «Кто тебе свой? Кто чужой?», назойливо возвращающийся ко мне, отвел мои мысли от девушки...

Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я еще ни разу не был влюблен. Я так был занят, такое множество у меня было уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы; перечень музеев и галерей, которые я должен был повидать, – все это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тетки, у меня не было никаких. А в ее доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и не интересуясь вовсе духовной жизнью замухрышки, каким я несомненно был в их представлении. Все их разговоры были о большом свете; на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра.

Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками или танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной, простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. Как Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежала высшей, необычной жизни. И с обеими я не просто общался, как с добрыми знакомыми, а подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытой от всех, жизни.

«Лиза упрекала тетку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тетка?» – вертелось в моей голове колесо мыслей.

Теплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в ее судьбе шевельнулись во мне.

Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими этюдами. За окном была темная ночь, в коридоре горела зажженная проводником свечка, но в купе было довольно темно.

Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали, и я увидел И., вводившего в наше купе Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти; за ними шла тетка с пледом в руках.

– Левушка, у Лизы был сильный сердечный припадок. Пока ей приготовят постель, ей надо полежать у нас, сидеть она не может, – сказал И., укладывая девушку на диван.

Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у ее изголовья и стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тетке И. указал место у столика, взял у нее плед, накрыл им девушку и сел у ее ног.

Несколько минут царило полное молчание. Тетку я не видел, ибо, занятый своей миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полубомбочным состоянием Лизы, я внимательно ее разглядывал.

Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека ее была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость ее переходила в большой синяк,

что отчетливо стало видно теперь, когда И. достал складной подсвечник, зажег в нем свечу и поставил на столик.

– О чем теперь вы плачете? – услышал я вдруг голос И. Я оглянулся и увидел, что лицо тетки все залито слезами; нос, губы, щеки – все распухло, и вид ее был до отвращения безобразен.

– Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я ее толкнула. А на самом деле сама ушиблась... – отвечала злым голосом тетка сквозь всхлипывания.

Я взглянул на И. и пораился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного, большей частью светящегося доброжелательством И. может быть такое грозное лицо, такие суровые глаза.

– Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы ее ударили, не рассчитав своей силы; и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на ее щеке. Если бы вы ударили чуть выше, – с Лизой было бы кончено, – говорил звенящим голосом И.

Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тетки:

– Возможно, что вы и доктор. Но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить ее в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы ее поднять.

– И поэтому вы исципали ей всю грудь и руку, – сказал И. – Но поскольку вы отрицаете, что избili ее, – мне придется сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь.

Воцарилось недолгое молчание, затем тетка прошипела:

– Сколько возьмете за свое молчание?

И. рассмеялся, я тоже не мог удержаться от смеха и закричал:

– Да это целый роман!

Вероятно, мой смех особенно раздражил такую сейчас старую и безобразную даму. Когда я на нее взглянул – точно змея меня укусила, так злы были ее глаза.

– Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли и моральный и физический вред. За моральный удар вы ответите жизни; он не останется безнаказанным и вернется к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребенка вы получите такую же пощечину. А за удар физический вы ответите судебной власти и понесете заслуженное наказание, – говорил И., доставая из саквояжа футляр с фотографическим аппаратом.

– Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моем сыне. Это мое единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые ударила ее за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать, – бормотала она прерывающимся голосом.

– Почему же вы не пожалели единственного ребенка своей сестры? Женщины, несчастье которой составляете вы до сих пор, – продолжал И., все так же сурово глядя на нее.

– Вы еще слишком молоды. Вы не знаете бедности. Вы не можете ни понять, ни судить меня, – жалобно говорила женщина. – Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянусь жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку.

– И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в ее доме, разыгрывать в нем хозяйку? О нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дешево – три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома сестры.

– Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни. Чем я буду жить? – раздраженно спросила тетка.

Вторично по лицу И. скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горящей свечи.

– Вы должны работать, – тихо сказал он.

– Работать? Оно и видно, что сами-то вы и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чем тут болтаете, – злась и фыркая, говорила тетка.

– Я повторяю, – чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей возразил И., – что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, – это условие немедленного отъезда из дома сестры и лично ваш труд. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына.

– Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы, ба-ры-ня! Была, есть и буду!

– Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня в том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия – высокую культуру, самодисциплину и самообладание, – ответил И.

– Вы очень дерзки и самонадеянны. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь, – закричала тетка.

– Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. И не был бы он, вслед за вами, приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться сестринского крова, отравленного для нее вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, только разоблачу перед родными. И они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останетесь на улице. Уйдете добровольно, я обещаю найти вам работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы – в особенности.

– Да не могу я быть гувернанткой, – снова закричала она.

– Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котел, вы не имеете даже начального понятия о такте. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребенку, как плохой зараженный воздух. Я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведет большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своем доме. Пока вы не съели ни одного куска хлеба, заработанного своими руками и головой, – вы не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд.

Тетка теперь молчала. Я несколько раз оглядывался на нее, и мне казалось, что слова И. действовали на нее успокаивающе. Глаза ее перестали источать ненависть, расстроенное и безобразное от злобы лицо становилось спокойнее: и даже какое-то благородство мелькнуло на нем, как сквозь серую пелену дождя пробивается бледный луч солнца.

Лиза все еще не приходила в себя. И. встал, наклонился к девушке и откинул прядь волос с ее лица. Щека вздулась: видны были ссадины, огромный кровоподтек становился почти черным. И. взял фотографический аппарат. Но в ту минуту, как он хотел его открыть, рука тетки коснулась его, и она едва слышно сказала:

– Я согласна.

Я был поражен. Сколько раз за эти короткие дни я был свидетелем того, как страсти, пьянство, безделье, фанатизм и зависть уродовали людей, разъединяли их и делали врагами. Как люди теряли человеческий облик и становились игрушкой собственного раздражения и бешенства. С горечью думал я, как же мало во мне самом самообладания и самодисциплины; и как я успокаивался от одного только присутствия брата, Флорентийца и моего нового друга И.

Ни одного слова – как оно ни было горько – не произнес И. повышенным тоном. Ни малейшего намека на презрение не прозвучало в его словах, напротив, все в нем являло самое глубокое доброжелательство. И злобные выкрики в его адрес, так оскорблявшие меня, что мне хотелось вмешаться в разговор и ответить ей тем же тоном, – не задевали спокойного благородства И. и его сострадания к этой женщине.

И. посмотрел на нее. Должно быть, его взгляд затронул что-то лучшее в ее существе; она закрыла лицо руками и прошептала:

– Простите меня. У меня такой бешеный характер; я сама не понимаю иногда, что говорю и делаю. Но если я даю слово – я его держу честно. И это, может быть, единственное мое достоинство, – сквозь снова полившие слезы проговорила она.

– Не плачьте. Отнеситесь в высшей степени серьезно ко всему, что с вами сейчас произошло. Благословляйте судьбу за то, что Лиза не ушиблась об острый угол стола. Если бы еще и это, – вы были бы сейчас убийцей, – а что это значит, вы отлично понимаете, – ответил ей И.

Ужас изобразился на лице тетки, которая сейчас была так несчастна, что даже мое сердце смягчилось; и я старался подыскать ей оправдания, думая о том, как постепенно и незаметно для себя падает человек, если зависть и ревность сплетают сеть вокруг него изо дня в день.

– Не возвращайтесь мыслями к прошлому, – снова заговорил И. – Думайте о своем сыне, нет ничего такого, чего бы не победила материнская любовь. Я залечу щеку Лизы, и через несколько часов от кровоподтека не останется и следа. Но вам придется просидеть возле нее до утра, меняя компрессы из той жидкости, что я вам дам. Примите эти подкрепляющие капли – и бессонная ночь пройдет легко. К утру я приготовлю письмо к моему другу и дам вам денег, чтобы вы с этой минуты могли начать новую, самостоятельную жизнь и уехать с сыном, не одалживаясь более у родных. Когда станете зарабатывать, вернете эти деньги своему хозяину, и он перешлет их мне; не впадайте в отчаяние, когда к вам будет возвращаться желание кричать: «Я барыня, барыня есть, была и буду», – а уединитесь и вспомните эту ночь. Вспомните, как я говорил вам, что за все то зло, которое вы выливаете из себя, получите стократное воздаяние от собственного сына. Но зато каждое мгновение вашей доброты, выдержки и самообладания будет строить мост к его счастью.

Должно быть, сердце бедной женщины разрывалось от самых разнообразных чувств, и силы почти изменяли ей. И. велел мне наполнить стакан водой, влил туда капель, и я подал его тетке.

Тем временем опять-таки из саквояжа, что дал мне Флорентиец, И. достал флакон, стакан и попросил принести теплой воды.

Когда я вернулся в купе, тетка уже пришла в себя и помогала И. поднять Лизу. Движения ее были осторожны, даже ласковы; а лицо, осунувшееся и постаревшее, выражало огромное горе и твердую решимость. Но это была совсем не та женщина, которую я видел в ресторане; и не та, которую я видел, выходя из купе. Правда, я не сразу разыскал проводника, который стелил постели; не сразу достал и воду, которую пришлось остудить, но все же отсутствовал я всего минут двадцать, и за это короткое время человека было не узнать.

Но уже столько всякого случилось за эти дни, и так я сам – всех больше – изменялся, что меня вовсе не поразила эта перемена, словно бы это было в порядке вещей.

И. влил в рот Лизе снадобье, вдвоем они ее снова уложили, и через несколько минут Лиза открыла глаза. Сначала взгляд ее ничего не выражал.

Потом, узнав И., Лиза просияла радостью. Но, увидев тетку, закричала, точно ее обожгли.

– Успокойтесь, друг, – обратился к ней И. – Никто вам больше зла не причинит. Сейчас вот приложу примочку, и к утру на вашем лице не останется никаких следов. Не смотрите с таким ужасом на свою тетку. Не думайте, что высшее благородство заключается в том, чтобы отгораживаться от тех, кого считаем злыми или даже своими врагами. Врага надо победить; но побеждают не пассивным уходом в сторону, а активной борьбой, героическим напряже-

нием чувств и мыслей. Нельзя прожить одаренному человеку – тому, кто предназначен внести каплю своего творческого труда в труд всего человечества, – безмятежно, без бурь, страданий и борьбы с самим собою и окружающими. Вы входите теперь в жизнь. Если не сумеете сейчас найти в себе благородство и не выдать зло, причиненное вам теткой, – то не внесете в жизнь собственную того огромного капитала чести и сострадания, которые помогут вам создать себе и близким радостную жизнь. Не судите тетку так, как это сделал бы судья. Подумайте о скрытых в вас самой страстях. Вспомните, как часто вы горели ненавистью к ней и ее сынишке, хотя он-то уж никак не повинен ни в вашем горе, ни в ваших отношениях с тетушкой. Проверьте, сколько раз вы платили тетке еще большей грубостью, как постоянно искали случая публично ее осрамить, мысленно «посадить на место». Но ни разу не мелькнуло в вас доброе чувство, хотя к прочим вы добры, и очень добры. Молодость чутка. Представить себе весь сложный ход вещей, всю силу человеческих страстей, расставляющих на каждом шагу капканы, – вы еще не в состоянии. Но понять, что сила человека не в злобе, а в доброте, в том благородстве, которое он с собою несет, – вы способны, потому что сердце ваше чисто и широко. Вы играете на скрипке и понимаете, ибо вы талантливы, что звуки, – как и доброта, – очаровывают и единят людей в красоте. Играя людям, чтобы звать их к прекрасному, – вы не ведаете страха. Так же точно возвращайтесь сейчас к себе без страха и сомнений. Когда сердце истинно открыто красоте, оно не знает страха и поет дивную песнь – песнь торжествующей любви. Вы так юны и чисты, что никакой другой песни петь не может ваше сердце. Не думайте о прошлом, проживайте это сейчас со всею полнотой ваших лучших чувств, – и вы построите вокруг себя прекрасную жизнь. Но ваше «завтра» будет засорено остатками желчи и горечи, которые вы вплетете в него, если сегодня не найдете сил раскрыть сердце в полной цельной любви, честно, без компромиссов. Ваша тетя покинет вас, как только довезет до дома. Она нашла себе место и будет жить с сыном в Москве. А вы ведь собираетесь переехать в Петербург... Вам уже стало лучше. Левушка доведет вас до купе и даст вот эту микстуру, от которой вы отлично уснете и завтра будете хороши, как роза, – прибавил он, улыбаясь.

Лиза была очень удивлена. В голове ее – и это было ясно всем – происходила сумбурная работа; но слова И. не были брошены впустую.

– Я вас отлично понимаю. Как это ни странно, но мама часто говорит мне вещи, очень похожие на то, что говорите вы сейчас. Так что ваши слова поразили меня больше тем, что совпали с мыслями мамы, хотя и совсем иначе выраженными. Я не могу сказать, что я в восторге от этих идей. Ведь я действительно ненавижу свою тетку и не верю ни одному ее слову. Вы и представить себе не можете, как она умеет лгать.

– А вы разве так безупречно правдивы? – тихо спросил И.

– Нет, – ответила Лиза, покраснев до корней волос. – Нет, я далеко не правдива. Но... хотя, зачем вдаваться в далекое прошлое? Если вы говорите, – она сделала сильное ударение на «вы», – что она уедет, я вам верю. Это все, что нам нужно.

– Нет, – снова сказал И. – Это далеко не все, что вам нужно, чтобы быть счастливой. Вы так привыкли иметь подле живой предлог, чтобы жаловаться на свои несчастья, что создали себе привычку: вместо того, чтобы следить за собой, – следить за теткой, выискивая в ней причины своих бед. И не замечали, что не только она, а и вы, Лиза, были мучительницей и матери, и отцу, и тетке... и самой себе.

При последних словах И. Лиза опустила голову.

– Это правда, – сказала она, подняв глаза на И.

И. помог ей встать, подал мне большой стакан с примочкой и маленький с каплями и предложил Лизе, опираясь на мою руку, идти спать, чтобы утро встретить веселой и свежей.

Было уже за полночь. С помощью тетки я довел Лизу до места, подал ей капли, которые она тут же выпила, а тетке – большой стакан с примочкой, пожелал им покойной ночи, раскланялся и вернулся к И.

Я застал его в коридоре, так как проводник стелил нам постели. Я подошел к нему, и он сказал мне по-английски, чтобы я сейчас же ложился спать, поскольку завтра понадобятся силы, а вид у меня очень утомленный. Ему же надо написать два письма, и он ляжет потом.

Уже по короткому опыту я знал, что говорить о последних событиях он не станет, а утомлен я был ужасно. Не возражая, кивнул согласно головой, залез на верхний диван и едва успел раздеться, как заснул мертвым сном.

Проснулся я от стука в дверь и голоса И., отвечавшего проводнику, что мы уже проснулись, благодарим за то, что он нас разбудил, и тотчас встаем. Но когда я спустился вниз, то увидел, что постель И. была даже не примята и три письма лежали наготове, запечатанные в конверты, а сам он уже переоделся в легкий серый костюм.

И. попросил собрать все наши вещи, сказав, что пройдет к Лизе, которую навещал два раза ночью. Он прибавил, что организм девушки крепок, но нервная система так слаба, что ей необходим бдительный и постоянный уход. И потому он написал матери Лизы, графине Е., письмо с подробными указаниями, как заняться лечением и воспитанием дочери.

С этими словами он вышел, я же так и остался стоять посреди купе с открытым ртом. Много чудес перевидал я за эти дни, но чтобы И. в самом деле оказался доктором и решился писать письмо совершенно неизвестной ему графине Е. о ее – тоже ему мало известной – дочери, – этого уж я никак не мог взять в толк. «Где же тут такт?» – мысленно спрашивал я себя, припоминая, что говорил Флорентиец о такте и предельном внимании к людям.

Долго ли, со свойственными мне рассеянностью и способностью мигом забывать все окружающее, стоял я посреди купе – не знаю. Только внезапно дверь открылась, и я услышал веселый голос И.

– Да ты угробишь нас, Левушка. Надо скорее все сложить, мы подъезжаем.

Я сконфузился, принялся быстро складывать вещи, но И. делал все лучше и быстрее, – мне оставалось только подавать вещи. Не успели мы уложить и закрыть чемоданы, как подкатили к перрону.

В коридоре я увидел Лизу и тетку в нарядных белых платьях и элегантных шляпках. Лиза действительно была свежа, как роза, и в глазах ее светилась радость. Тетка же ее была бледна, на лице ее разлилась скорбь, на лбу залегла поперечная морщина, тогда как вчера он был совершенно гладок; губы плотно сжаты: но странно – сейчас она нравилась мне гораздо больше; от ее вчерашней плотоядности ничего не осталось. То было лицо стареющей женщины, преображенное страданием.

Я поздоровался с ними издали; у меня не было желания заглядывать еще глубже в драму этих жизней. Севастополь сразу напомнил, что здесь мы сядем на пароход и снова отправимся на Восток; и я погрузился в мысли о брате и его судьбе в эту минуту.

Нарядная публика выходила из нашего вагона, и не менее нарядные люди встречали прибывших на перроне. Веселые возгласы, смех, объятия. И снова резанула мысль, что меня встречать некому и некого мне прижать к груди во всем мире, хотя в нем миллионы людей.

И. взял меня под руку, взглянув, как мне показалось, не без укора. Через минуту мы вышли вслед за носильщиком на перрон, где ждала нас Лиза рядом со стариком высокого роста, с небольшой седой эспаньолкой, очень красивым, гордым и элегантным.

Лиза подвела его к И. и сказала, что в вагоне упала так неловко, что разбила всю левую щеку и висок. И вот доктор помог ей какой-то микстурой так хорошо, что и следа от ушиба почти не осталось.

Старик – дедушка Лизы, – перепуганный внезапной болезнью внучки, высказал признательность. Он спросил, куда мы едем, сказав, что у него есть запасной экипаж и он может довести нас до Гурзуфа. И. поблагодарил, говоря, что мы останемся в Севастополе.

– В таком случае, разрешите моему кучеру довести вас до лучшей гостиницы, – сказал он, снимая шляпу.

Я видел, что И. очень этого не хотелось, но делать было нечего, – он тоже снял шляпу, поклонился и принял предложение.

Глава X В Севастополе

Все вместе мы вышли из здания вокзала. Старик велел нашему носильщику отыскать в целой веренице всевозможных собственных и наемных экипажей кучера Ибрагима из Гурзуфа.

Через несколько минут подкатила отличная коляска в английской упряжке, с белыми чехлами на сиденьях и кучером в белой же ливрее с синими шнурками, высоким белом цилиндре с синей лентой. При широкой татарской физиономии Ибрагима его английское одеяние выглядело довольно комично. Я подумал, что у того, кто подбирал кучера к английской упряжке, было не много такта.

Вообще, это короткое словечко не покидало меня и при всяком подходящем или неподходящем случае вылетало из какого-то закоулка в моем мозгу, дверь в который я не умел, очевидно, запереть как следует.

Пока мы прощались с дамами и усаживались в коляску, старик давал кучеру указания, куда нас отвезти, какого управляющего вызвать, чтобы нас отлично устроили в номере с видом на море, и последнее, что я услышал, было приказание Ибрагиму оставаться весь день в нашем распоряжении, свозить нас в Балаклаву и только на завтра, выполнив еще какие-то поручения, выехать в Гурзуф.

Я посмотрел на Лизу. Она не сводила глаз с И. Она так смотрела на него, точно он был сказочный принц, а она Золушка. Я перевел глаза на И. и снова подумал, что он красив, как Бог, но Бог суровый.

Тетка все это время стояла, опустив глаза, и казалась еще бледнее в ярких лучах солнца.

Мне было ее сердечно жаль; мне казалось, что я, одинокий и бездомный, могу более других понять ее скорбь и неуверенность в надвигающейся полосе ее новой самостоятельной жизни. Прощаясь с нею, я крепко пожал и нагнулся поцеловать ей руку, не по велению хорошего тона, но в самом искреннем сердечном порыве.

Она, казалось, почувствовала теплоту моего сердца, ответила на пожатие и взглянула на меня. Я даже похолодел на мгновение, такая бездна отчаяния была в ее глазах.

«Боже мой, – думал я, усаживаясь рядом с И., который говорил о чем-то с Лизой, – неужели в жизни так много страданий? И зачем так устроена жизнь? Зачем столько слез, нищеты и горя? И как понять, что человек сам множит свои скорби, как говорит И.?

Вокзал был довольно далеко от города. Я впервые видел Крым и этот исторический город. Все в нем дышало для меня очарованием. Я мысленно расставлял редуты и башни, и пленительные образы Корнилова, Нахимова и Тотлебена вели воображение далее, к первому герою той страшной обороны – русскому солдату.

И. разговаривал с кучером, который оказался уроженцем Севастополя и не так давно похоронил деда, участвовавшего в тяжких боях, выпавших на долю четвертого бастиона.

Он вызвался отвести нас на верхний бульвар, чтобы мы увидели, где проходили бои, с обозначением блиндажей и бастионов, а в Балаклаве посмотрим гавань, где затонуло громадное судно, знаменитый «Черный принц» англичан.

Мне больше всего хотелось видеть Нахимовский курган, но я не хотел вмешиваться в разговор. Сердце мое так было полно горечью жизни, что обычная моя смешливость и интерес к новым местам отошли на какой-то далекий план. А страдания людей опаляли, как беспощадное солнце, поджаривавшее нас.

А этот город, спасенный такими неописуемыми страданиями и гибелью безвестных серых тысяч, имен которых никогда не сохраняет история, зная одно только имя народа – Иван Стотысячный!

И где-то рядом высилась в моем представлении фигура венценосного императора Николая I, у которого не хватило ума прислать достаточно войска и провианта в это погибельное место, вместо того чтобы собирать войска на Кавказе, где он поджидал врага. И сколько же их, грабителей, негодяев и знатных дураков, помогавших гибнуть этим безвестным героям, – Иванам Стотысячным, – умиравшим просто и без проклятий.

Мысли мои прервал И., спрашивавший, не согласен ли я прежде всего узнать о билетах на пароход в Константинополь. Вмешавшийся Ибрагим уверил И., что в гостинице, куда он нас привезет, есть агент пароходной компании, что он доставляет и билеты, и заграничные паспорта, и что у нас никаких хлопот не будет, потому что пока путешественников мало, а вот через месяц будет очень «большая масса», как выразился Ибрагим.

И. согласился ехать прямо в гостиницу, но я видел, что ему как-то не по себе. Несмотря на все его самообладание, лицо его было сурово и нахмурено.

Если бы я не знал другого его облика, как бы я был несчастлив, что связал судьбу с этим человеком! Точно прочитав мои мысли, И. обернулся и ласково мне улыбнулся.

Какой странный инструмент – сердце человека! Одной улыбки и легкого пожатия руки было довольно, чтобы мне стало легко, чтоб сердце открылось для тех радостных сил и чувств, которые я закупорил где-то в тени души.

И. велел Ибрагиму заехать на главную почту, чтобы отправить письма. В эту минуту мы проезжали мимо собора, где стоял когда-то гроб убитого при обороне Севастополя Корнилова.

Мы остановились у почты – маленького и грязного домишки. И. отправил письма, получил телеграммы и, увидев расклеенные по стенам плакаты и объявления пароходных компаний, спросил, где можно купить билеты на пароход в Константинополь.

Старый сторож, в не менее старом и засаленном солдатском мундире, должно быть, еще времен обороны, ибо подобных камзолов нигде теперь не было и в помине, ответил, что агент имеется в приморской гостинице, поскольку там еще есть надежда заполучить пассажиров, а здесь билеты пока никто не спрашивал.

Мы снова сели в коляску и двинулись к гостинице, которая оказалась неподалеку. Очевидно, хозяина Ибрагима хорошо знали, потому что был немедленно вызван управляющий и нас поселили в лучшем номере.

Через несколько минут явился и пароходный агент. Он сказал, что превосходный новый английский пароход уходит впервые в Смирну и Константинополь завтра в 3 часа дня. А сегодня в ночь отправляется такая грязная и старая итальянская скорлупа, которую новый пароход все равно перегонит; и что на нем есть совершенно новенькая свободная каюта-люкс.

И. согласился, отдал ему наши паспорта и деньги и условился, что вечером, когда мы будем обедать здесь же, в гостинице, нам принесут билеты. А заграничные паспорта вручат в полном порядке завтра в час дня, так как это не так скоро здесь делается.

И. распорядился, чтобы покормили Ибрагима, а сами, умывшись и переодевшись, мы спустились в тенистый и прохладный зал ресторана завтракать. И. сказал, что есть телеграмма от Ананды, извещающего, что все благополучно, что Флорентиец выехал в Париж, а он, Ананда, будет телеграфировать нам в С и Константинополь на главную почту и чтобы мы написали о себе в Москву, в ту же гостиницу.

Позавтракав, мы сели в коляску Ибрагима и отправились осматривать город, доверившись во всем вкусу и знаниям нашего кучера.

Должно быть, он не раз показывал достопримечательности города знакомым старика Е., потому что очень толково провез нас по лучшим улицам, показав все, что построено за последние годы, сообщив, что обратно повезет другой дорогой и мы познакомимся со всем городом.

Огромное впечатление произвел на меня верхний Севастопольский бульвар. Мы дважды обошли с И. места, ставшие бессмертной славой России, пусть многие и считали их бесславными страницами истории.

Никогда прежде не видавший моря, я положительно растворился в восторге, увидев его бушующим с обрывистых берегов у Балаклавы. Я забыл обо всем, кроме природы, солнца и моря, и мне казалось, что уж лучше и быть ничего не может.

И., посмеиваясь надо мной, говорил, что я вскоре увижу такие красоты, перед которыми Крым решительно покажется мне убогим. Шутил он и над моими восторгами, пообещав, что первая же морская буря, в какую я попаду, сменит, при моей экспансивности, восторг на проклятия.

Только вечером мы вернулись в гостиницу. Щедро расплатившись с Ибрагимом, получив билеты у агента, мы прошли в свой номер и оттуда в ресторан ужинать.

Пока был на воздухе, я не замечал ни усталости, ни голода, ни палящего солнца. Сейчас же лицо мое горело, я хотел есть, пить, спать – все вместе.

Взглянув на И., я мысленно пожал плечами. Этот человек словно только что вышел из своего кабинета, где преспокойно читал газету. Правда, лицо и у него немного обветрилось и загорело, но не пылало, как мое, на нем не было видно признаков утомления; он, очевидно, мог встать и ехать дальше, а я, я прямо валился с ног от усталости.

Зал был почти пуст, но все же несколько столиков было занято. Однако я так был поглощен собой и утолением своего голода, что даже не обратил внимания на тех, кто был в зале.

К моему удивлению, И. ел мало. На вопрос, неужели он не голоден, он ответил, что в пути есть надо мало: чем меньше ешь, тем легче путешествовать и тем лучше воспринимаешь все окружающее. В его тоне отнюдь не было ни малейшего укора или осуждения. Но я как-то сразу почувствовал себя неловко.

Я вообще отличался прекрасным аппетитом, чем удивлял своих товарищей по гимназии. Обжорой я все же не был; но сейчас почувствовал себя так, как будто бы действительно был в этом грешен.

Я моментально потерял вкус к еде и отодвинул тарелку. Заметив это, И. спросил, сыт ли я уже. Я просто и прямо сказал, что потерял вдруг аппетит, устыдившись своей прожорливости рядом с ним.

– Вот уж не следует, по-моему, сравнивать себя ни с кем ни в аппетите, ни как-то иначе. У каждого свои собственные обстоятельства, и чужой жизнью не проживешь ни минуты, – сказал И. – Кушай, мой дорогой, на здоровье, сколько тебе хочется. Придет время, доживешь до моих лет, и еда станет для тебя просто необходимостью, а не наслаждением. Я очень виноват, что необдуманно лишил тебя аппетита, – ласково улыбнулся он.

– Странно, что вы считаете себя намного старше. Мне скоро 21, вам же никак не дашь больше 26–27 лет, а быть может, и того меньше. А вообще я благодарен вам за все, что успел от вас услышать. Тут я перешел на английский и продолжал: – Если бы вы не поехали со мной, что бы я делал? Как мог бы лететь на помощь брату, если бы вас не было рядом? Я уже говорил Флорентийцу, что не могу жить за чужой счет, а ваши слова о том, что человек не может понять смысла жизни, пока не заработает свой кусок хлеба, только еще глубже убедили меня, что так продолжаться не может. С самой той злосчастной ночи, когда я нарядился в маскарадный костюм для пира у Али, я не вылезаю из духовного маскарада. То я слуга-переводчик, то я племянник, то двоюродный брат, то друг, – в то время как из всех этих ролей мне пристала только одна: роль слуги. Разрешите мне стать вашим слугою, так как ничего другого я делать для вас не могу. Может быть, и в этом я на первых порах не преуспею. Но я приложу все силы, все усердие, чтобы стать вам хорошим слугой, – тихо, внешне спокойно, но с огромным волнением в сердце говорил я.

– Мой дорогой друг, мой бедный мальчик, – отвечал мне И., – отложим этот разговор до путешествия по морю. Быть может, там, оторванный от земли и всех ее условностей, ты больше поймешь огромную свою ответственность за жизнь брата, за его счастье и дальнейшую судьбу. Я нисколько не намерен отговаривать тебя от труда. Но тебе надо понять, в чем именно состоит твой труд. Быть может, жизнь, которая дает тебе возможность близко увидеть величие и ужас путей человеческих, откроет тебе понимание и смысл твоей собственной жизни глубже и шире. И ты станешь служить не только своей родине, но и всей необъятной звенящей вокруг жизни. Мы поговорим об этом на пароходе. А сейчас кушай мороженое, а то оно все растает, – закончил он, опять улыбнувшись.

В его тоне была такая глубокая сердечность, так нежно смотрели на меня – беспомощного и бездомного, одинокого и потерянного без него – его темные глаза, что я невольно вспомнил рассказ о том, как спас его, умирающего, Ананда.

Должно быть, Ананда так же нежно глядел на него в тот миг.

Я не лежал теперь в агонии, но поистине могу сказать, что то были дни тяжелой агонии моего духовного существа.

Мы кончили наш ужин, расплатились и поднялись к себе в номер. Здесь уже были готовы постели; мы потушили свет, открыли окна, полюбовались темным небом, огоньками на мачтах и лодках и легли спать.

Утром, проснувшись, я обнаружил, что И. в комнате нет. Пока я совершал свой туалет, вошел он, бодрый, веселый, в новом полотняном белом костюме и таких же туфлях, с пакетами в руках.

Он рассказал мне, что проснулся очень рано, решил прогуляться по городу и набрел на прекрасный магазин, где купил нам по белому костюму, не то на пароходе мы пропадем от жары.

Он развернул пакеты и подал мне такой же белый костюм. Я его примерил, показался себе очень смешным, но все же в нем остался.

Далее И. рассказал, что повстречал вчерашнего агента, шедшего вместе с капитаном парохода, на котором мы должны отправиться. Они познакомились, и капитан предложил перебраться на пароход раньше общей посадки, точно указав ему место стоянки. И. угостил капитана превосходным вином в ресторане нашей гостиницы и получил записку к дежурному помощнику, в которой говорилось, что мы имеем право занять свою каюту в любое время. Было как-то жаль расставаться с сушию хотя бы на один час раньше; но внутренний голос говорил мне, что И. даром спешить не станет, и я не возразил ни слова.

Когда я был совсем готов, он осмотрел меня, предложил выпить кофе и пройти в магазин, чтобы приобрести еще по одному костюму – из темной чесучи или альпага. Я был рад провести лишний час на суше и решил, что я из тех горе-любителей, которых пленяет море, пока они стоят на берегу. Какая-то тоска одолевала меня, когда я думал об этом первом морском путешествии, которое казалось мне бесконечным.

Вскоре мы управились со всеми делами, нашли костюмы, какие хотелось И. Мне мой темно-серый так понравился, что я в нем и остался. Вернувшись в гостиницу, мы расплатились и получили у агента паспорта, добытые им раньше обещанного срока. Сев в лодку тут же, у гостиницы, мы поплыли к пароходу.

Довольно долго мы лавировали между массой самых разнообразных судов, пока, наконец, не оказались у махины-парохода, выкрашенного в белый и красный цвета, рядом с ним мы и наша лодка походили на букашек.

Взобравшись по трапу на палубу и предъявив записку капитана дежурному помощнику, мы добрались до своей каюты-люкс. Она была расположена на верхней палубе, рядом с каютой капитана, и отделялась от нее только деревянной переборкой, что делало нас обладателями многих необыкновенных преимуществ. В нашем распоряжении был небольшой кусок принад-

лежавшей только нам верхней палубы, куда никто другой из пассажиров не имел права заходить. Кроме того, в нашей каюте была прекрасная ванна, стены обиты серым шелком. Были и два спальных дивана, подле каждого электрическая лампочка с колпачком, а в потолок был вделан матовый фонарь.

Все металлические детали были никелированные; на полу ковер, серый с розовыми цветами в тон обивке стен и диванов, Я еще никогда не видел подобной роскоши и стоял, по обыкновению тараща глаза.

Но И. не дал мне впасть в мечтания и вывел на палубу. Вид на город был очень живописен. Но вокруг поднимались пустынные холмы: и желтая земля, иссохшая, потрескавшаяся от зноя, не являла собой заманчивого зрелища.

Посмотрев на часы, я был поражен, как быстро промелькнуло время, – скоро нам предстояло двинуться в путь.

Наконец матрос доставил последние вещи в нашу каюту, закрепил их, к моему большому удовольствию, и мы расплатились с агентом, делавшим вид, что помогает, а на самом деле суетившемуся возле матроса без смысла и толку.

И у меня мелькнула мысль, что жизнь моя в последние дни, пожалуй, чем-то напоминает суету этого агента. Я тоже всего лишь ассистирую, когда другие действуют, не видя в своем собственном поведении ни логики, ни смысла, ни толку.

И. поблагодарил агента, дав ему добавочный куш; тот рассыпался в благодарностях и подал И. свою карточку с адресом, уверяя, что окажет нам любые услуги, стоит только ему написать или телеграфировать в Севастополь.

И. взял карточку, назвал мою фамилию и сказал, что, весьма возможно, мы еще будем нуждаться в его услугах. Кстати, спросил он, отправится ли следом в Константинополь такой же быстроходный пароход.

Агент рассмеялся и сказал, что такого чудо-парохода больше нет. К тому же наше судно не будет заходить в порты, только в Одессу.

Последним нас покинул матрос из штата судовой прислуги, приставленный к нашей каюте. Малый был веселый и расторопный, он бегал по трапам, как суший акробат.

Хорошие чаевые сделали его еще более любезным, и он объяснил нам, что пассажиры каюты-люкс могут не спускаться к табльдоту¹, а требовать кушанья к себе наверх.

Через несколько минут он появился по собственной инициативе с меню завтраков, обедов и ужинов. И. просмотрел его и сказал, что мы вегетарианцы, поэтому он хотел бы, если это возможно, видеть повара и условиться с ним об отдельном нашем питании.

Матрос слетал вниз и через некоторое время явился с двумя важными особами в безукоризненных белых костюмах. Один из них был метрдотель, другой – главный повар. Повар был толст и важен, метрдотель – высок и худ и держался с большим достоинством и любезностью.

Дело быстро уладилось, главный кок заявил, что его помощник – специалист в этом деле, что зелени и фруктов на пароходе большой запас, а метрдотель предложил нам завтракать и обедать на полчаса раньше. Оба, получив по крупной бумажке, стали еще любезнее, и повар сказал, что может через полчаса сервировать для нас завтрак, когда публика еще только начнет съезжаться. И. согласился, оба джентльмена удалились, и мы остались наконец одни.

Шум, выкрики команд, скрип кранов, поднимавших грузы, ошеломляли меня. Я еще ни разу не видел, как грузится большой пароход. Да и пароходы-то видел только издали.

В раскрытый трюм, который казался бездонным, опускались огромные тюки.

Грузчики, друг за дружкой, сновали, с тяжестью на спинах, по длиннейшим мосткам, достигавшим берега и уложенным поперек на нескольких баржах.

Внезапно внимание мое было привлечено мелькнувшей в воздухе коровой.

¹ Табльдот – обеденный стол с общим меню. (Прим. ред.)

Испуганное животное дико мычало и рвалось из крепких ремней, которыми оно было привязано к подъемному крану. Одна за другой коровы исчезали в люке бездонного трюма. Потом настала очередь ржущих лошадей, которые страдали еще больше.

Все поражало меня. Вроде я знал, что все это существует, но когда увидел воочию, то показалось, что это необычайно сложно и что ум человеческий, придумавший всю эту технику, воистину творит чудеса.

Я поделился своими мыслями с И.; он улыбнулся и ответил, что нет чудес ни в чем. Все, чего человек достигает, – лишь та или иная степень знания, к какой бы области ни принадлежали видимые или не видимые глазу, постигаемые только мыслью и интуицией «чудеса».

– Нам надо быстрее позавтракать, – сказал он. – Скоро появятся пассажиры. Я хотел бы вместе с тобой наблюдать за посадкой. Жаль только, что жара, пожалуй, будет тебе вредна.

На мой вопрос, почему это он, уклоняющийся от всякой суеты, хочет наблюдать толпу, И. ответил, что надо удостовериться, удалось ли нам оторваться от преследователей, и тогда мы можем спокойно плыть до Константинополя, где нас встретят друзья Ананды.

В это время матрос принес складной стол и два стула, следом за ним пришел лакей со скатертью, посудой и салфетками. На вопрос, что мы будем пить, И. заказал бутылку вина и какое-то мудреное питье со льдом, название которого я слышал впервые.

Очень скоро мы уже сидели за столом, и я с большим удовольствием потягивал через длинную соломенную трубочку холодное розовое питье, необыкновенно вкусное и ароматное.

В разгар нашего завтрака на палубу взошел капитан, приветствовавший И. как старого знакомого, он любезно поздоровался и со мной, напомнив мне Флорентийца элегантностью своих манер. Капитан обращался с нами как с желанными гостями и любезно предложил пользоваться всей палубой, а не только той частью ее, которая принадлежала нашей каюте.

– Скоро начнется съезд пассажиров, – сказал капитан, выпивая стакан вина, любезно налитого ему И. – Хотя настоящий сезон еще не настал и другие пароходы пустуют, на мой запись шла уже месяц назад. За день до вашего приезда от своей каюты отказалась графиня Е. из Гурзуфа. Вот вам и посчастливилось.

Я старался скрыть свое изумление, усердно подражая невозмутимости И., чтобы быть «вполне воспитанным» человеком. Но я был глубоко поражен таким совпадением. Очевидно, это мать Лизы должна была ехать в нашей каюте, а может быть, даже несчастная ее тетка думала совершить морское путешествие.

– Если у вас нет неотложных дел, – продолжал капитан, – я бы советовал вам вооружиться биноклями и понаблюдать за посадкой. Здесь так явно обнаруживается мера человеческого воспитания, характеры, манеры, что это не только интересное зрелище, но и поучительный урок. У меня перед каютой натянут тент. Вы сможете опустить занавески и будете сидеть в тени, незаметно наблюдая за прибывающими. Иногда бывают преуморительные картины.

Вот, пожалуйста сюда, я покажу, как устроиться. До самого отплытия можете сидеть здесь. Только когда выйдем в открытое море, ко мне придут с докладами помощники, – как это всегда бывает при отправлении, неизбежны случайности, которые требуют вмешательства капитана. Это вам будет неинтересно.

Говоря все это, он усадил нас под темно-синим тентом, опустил такие же занавески и подал прекрасные бинокли.

– Итак, будьте как дома – и до свиданья. Как только выйдем в море, вам придется покинуть мои владения.

Он приложил руку к козырьку фуражки и сошел вниз.

– Вот все и устроилось, лучше, чем вы хотели, – сказал я.

Он кивнул головой, взял свой бинокль и принялся рассматривать публику, которая стала собираться на берегу. Я видел, что ему не хочется разговаривать, и мне не оставалось ничего другого, как последовать его примеру.

Должно быть, наш пароход сидел очень глубоко в воде, так как посадка шла с противоположной стороны гавани. Теперь нам были видны несколько элегантных экипажей с разряженной публикой; дамы в белых платьях, с белыми зонтами и мужчины в белых костюмах и панاماх.

Бинокли были превосходны, можно было отчетливо рассмотреть даже лица.

Меня больше всего занимали те, кто шел по левым мосткам, очевидно, публика из первого и второго классов. По правым мосткам двигались те, кто тащил на себе свои узлы и сундуки. Мелькали и фески, и пестрые халаты; двигались кучками женщины, закутанные с ног до головы в черные бурнусы, с темными сетками на лицах, в сопровождении детей разных возрастов.

– Вот это удача, – вдруг услышал я возглас И. Он показал мне на двух высоких мужчин в темных костюмах и красных фесках, вступивших на мостки и выделявшихся на фоне элегантных белых фигур.

Я принялся их разглядывать. Один был постарше, лет сорока; другой совсем молодой, моих лет. Оба были жгучие брюнеты, черноглазые, красивые и очень стройные.

И. встал и попросил меня оставаться на месте, сказав, что сам пойдет навстречу туркам, ибо это и есть те самые друзья Ананды, к которым мы едем в Константинополь, и что это необыкновенная удача плыть с ними отсюда на одном пароходе.

Не успел И. уйти, как на палубу поднялся капитан. Он очень удивился, увидев меня одного; и я должен был объяснить, что И. увидел своих друзей и пошел вниз встретить их.

– Ну, значит, вам будет весело, – сказал капитан. – Передайте вашему брату, что его друзья будут желанными гостями здесь, на палубе, вопреки правилу.

Я поблагодарил его за любезность и встретился с ним взглядом.

Положительно, в последние дни мне везло на необычайные глаза, и я начинал досадовать, что у меня-то самые обычные, темные.

Капитан был молод, на вид ему было чуть больше тридцати. Поджарая фигура, очень ловкие движения, легкая походка – все указывало на большую физическую силу и тренированность. Бритое лицо с квадратным подбородком выказывало большие административные способности. Губы, красиво очерченные, были плотно сжаты. С чертами не такими правильными, как у Флорентийца или Ананды, лицо это было все же очень красиво, и, по всей вероятности, он имел большой успех у женщин. Сила и большой характер читались во всей его элегантной фигуре.

Но когда я встретился с его пристальным взглядом, то подумал, что близость с ним вряд ли приятна. Глаза его были совершенно желтые, как янтарь, и зрачки очень странной, как бы продолговатой формы, точно у кошки.

Янтарные эти глаза показались мне жестокими, мерещились долго, пока не вернулся И.

И. возвратился веселым, таким я его еще не видел; сказал, что друзья-турки выехали из Москвы следом за нами, что они видели Ананду и привезли нам письма, мы получим их сегодня, как только они кончат завтракать и смогут разобрать вещи.

Казалось, теперь он потерял всякий интерес к наблюдению за публикой и, как бы нехотя, время от времени, поглядывал на все прибывавших пассажиров.

А между тем зрелище было необычайно красочно пестротой одежд, контрастом манер и жестов. Кто-то суетливо бежал и расталкивал всех на пути; кто-то громко перекликался, и крики сливались в один сплошной гул. Но вот раздался вой пароходной сирены; и если бы не матросы, сдерживавшие напор людской волны, произошла бы самая настоящая давка. Долго еще продолжалась посадка; наконец трапы были отданы, между берегом и пароходом образовался разрыв, и раздалась команда капитана, который сам стоял у руля, выводя судно в открытое море.

Глава XI

На пароходе

Мы все сидели под синим тентом, и я радовался, что вижу наконец море, беспредельный водный простор, где даже в лучший бинокль не увидишь берегов.

К моему удивлению, И. не разделял моей радости. Напротив, он пристально вглядывался в горизонт и, хотя мы шли по гладкой как зеркало воде, – предсказывал шторм, редкий в это время года, свирепый шторм на Черном море.

Я тоже принялся рассматривать в бинокль горизонт; но кроме моря и неба, сливавшихся в одну серую полосу, ничего не видел.

– Как только появится капитан, мы поблагодарим его за гостеприимство и пойдем к себе в каюту, – сказал И. – Пока нет качки, тебе надо разобрать вещи в своем саквояже. Я уверен, что Ананда подумал о пилюлях на случай бури, чтобы тебя не укачало. Если – как я и полагаю – налетит ураган, тебе надо успеть до начала качки принять три раза пилюли. Нам с тобой предстоит помочь людям, едущим в третьем классе. Привилегированная публика будет иметь довольно удобств, хотя ей тоже придется пострадать. Но третий и четвертый классы, как всегда заполненные до отказа нищетой, будут в нас нуждаться.

Я призадумался. Еще ни разу И. не говорил мне об опасности нашего морского путешествия, да и мне самому плавание казалось приятной прогулкой.

Вскоре мы вышли в открытое море, но берега были еще отчетливо видны – пустынные, желтые, ничуть не привлекательные берега.

Показался капитан. Мы вернули ему бинокли, поблагодарили за любезность и хотели тут же уйти. Но он зорко посмотрел на нас и спросил, часто ли мы плавали по морю. И. сказал, что сам он к морю привычен, но я плыву в первый раз.

– Боюсь, что первое впечатление от знакомства с морем не будет для вас приятным, – сказал мне капитан, – Барометр показывает такую небылицу для этого времени года, что, если бы не сам я его выбирал и выверил, – я мог бы думать, что он просто шалит. Надо ждать не просто бури, но бури редкостной.

Как ни прекрасно мое судно – думаю, что придется схватиться с ветром, морем и ливнем в эту ночь. Вам же следует наглухо закрыть свою каюту, а я прикажу матросам установить запасные щиты, так как предполагаю, что волны будут захлестывать и эту палубу.

Я ужаснулся. Высота парохода отсюда казалась с хороший трехэтажный дом.

Мне подумалось, что такой волны просто не бывает.

Лицо капитана было очень решительно и бодро, но сурово. Очевидно, чувство страха было неведомо этому стальному человеку. Он точно радовался, что вступит в бой со стихией. Он, пожалуй, и любит-то море из-за той борьбы, в которую приходится с ним вступать; и если сейчас его что-нибудь заботит, так это ответственность за жизни людей, груз и судно, которые ему доверены и над которыми он полновластный хозяин посреди этих вод.

И. казалось, что буря, видимо, разыграется к ночи. Капитан возразил, что зыбь и качка, от которой будут страдать люди и животные, возможны ночью, но настоящая буря грянет лишь под утро, на рассвете.

К капитану стали подниматься его помощники, мы расстались с ним и пошли в свою каюту.

Я принялся разбирать саквояж, которым снабдил меня Флорентиец в дорогу.

Он оказался очень вместительным, в нем было много отделений, и одно из них состояло из дорожной аптечки.

Я спросил, не принять ли мне одну из волшебных пилюль Али, которые давали так много сил и свежести. Но И. ответил, что для морской качки они совершенно не годятся; а надо

найти лекарства, успокаивающие головокружение и рвоту, поскольку вряд ли Ананда мог не предвидеть качки.

Я предоставил самому И. искать пилюли; он действительно их нашел очень скоро и сейчас же заставил меня принять одну из них.

– Ты полежи немного, дружок, – сказал он мне. – Если пилюли будут тебе полезны во время качки, то сейчас ты должен почувствовать легкое головокружение и тошноту, – говорил он, подавая мне пижаму и ночные туфли. Я чувствовал себя превосходно, но сообразил, что времени полюбоваться морем будет еще вдоволь, а сейчас неплохо и полежать, – надел пижаму и вытянулся на мягком диване.

Оказалось, что лечь было самое время. Не успел я подумать, какое чудное подо мной ложе, как все завертелось у меня перед глазами, застучало в висках, замутило. Я даже издал нечто вроде стоны. Рука И. легла на мой лоб, он нежно вытер мне лицо, покрывшееся мгновенно испариной, и, наклонившись, заботливо положил под голову мягкую подушку.

– Это очень хороший признак, Левушка, – услышал я его голос, словно бы И. находился где-то очень далеко. – Через несколько минут ты оправишься и будешь нечувствителен даже к сильной качке. Если же буря начнется, как думает капитан, на рассвете, – успеешь закалить этим лекарством организм и сможешь отлично помогать пассажирам. Ты говорил, что хочешь работать. Вот тебе жизнь и посылает сразу же случай стать самоотверженным слугой людям, которые не закалены и не подготовлены к тем страданиям, что ждут их сегодня.

Если у тебя не появится страха, если ты не отдашься чувству брезгливости, а будешь отыскивать перепуганных детей и взрослых, чтобы нести им бодрость и помощь, – ты положишь основание своей новой жизни труда и любви, и такое глубокое, что все дальнейшие испытания будут тебе не страшны.

Я слышал его, очень хорошо понимал, но положительно не мог двинуть ни одним пальцем.

Не знаю, сколько времени я так лежал, но наконец почувствовал, что удары в виски прекратились, тошнота прошла. Но отвратительное состояние головокружения, когда все плыло передо мною, оставило настолько неприятное впечатление, что я все еще боялся открыть глаза. Но с каждой минутой я чувствовал себя все лучше и в конце концов поднялся с дивана, радостно глядя на И., и мгновенно забыл все только что испытанные ощущения.

– Да ты, Левушка, герой; я даже не ожидал, что ты так легко отделаешься. Когда я привыкал к этому лекарству, – противоядию от качки, – я подолгу лежал без движения, – весело говорил мне И. – Мне кажется, что за эти дни, Левушка, ты смог увидеть, сколько героического напряжения может потребовать вдруг от человека жизнь, и он, проснувшись утром веселым, беззаботным ребенком, к вечеру становится взрослым; и судьба кличет его на такой подвиг, о котором он только читал в сказке.

– Это верно, как и все, что я от вас успел услышать, – ответил я И., надевая костюм. – Быть может, и не на такие пустяки, как глотанье гадких пилюль, я был бы способен, если бы умел всегда держаться в кругу сосредоточенного внимания. Но я так рассеян, что не в состоянии применить на деле всего, что успел понять благодаря вам и Флорентийцу. Я не могу сразу думать о тех, кому я нужен, а думаю сначала о себе. Вот и сейчас, я упустил из виду, что могу еще не раз очутиться в бурю на пароходе, пока мне предстоит сбивать с толку преследователей брата. Забыл я и о помощи несчастным, тем, кто в эту бурю будет страдать и нуждаться в ваших заботах.

– Я готов хоть сейчас снова принять эту отвратительную зелень, – прибавил я, помолчав.

Я оделся, И. радостно обнял меня, заметив, что ни мгновенья не сомневался в истинных моих чувствах. Он пригласил спуститься к его друзьям в первый класс, чтобы познакомиться с ними и получить письма. Он предложил также посмотреть, как устроен пароход, его многочисленные гостиные, читальню, библиотеку, большой зал, столовую и т. д. Но я, предвкушая

предстоящие горькие испытания, потерял всякий интерес к этой роскоши и сказал, что соглашусь только на одно путешествие – осмотреть помещения третьего и четвертого классов, где нам предстоит трудиться ночью. И. согласился, позвонил матросу и дал ему записку в первый класс к своим друзьям-туркам, которые явились незамедлительно.

И. встретил их у лестницы и велел матросу подать стулья. Через минуту тот принес четыре плетеных кресла, казавшиеся легкими, но на самом деле такие тяжелые, что я не мог свое не только поднять, но даже сдвинуть с места.

Тогда я стал разглядывать новых знакомых. Типичная наружность и без фесок не могла бы никого ввести в заблуждение. Старший из турок, которому я был представлен как брат друга И., а потому также и его брат, ласково улыбнулся мне, познакомил с молодым своим спутником, оказавшимся его сыном, и подал мне письмо Ананды. Он назвал свое имя, но так непривычно оно прозвучало и показалось таким длинным, что я его не разобрал даже. Он был очень красив; но теперь показался мне много старше, чем издали, когда я видел его в бинокль, и особенно рядом с сияющим молодостью и красотой И.

Я заметил, что оба турка чрезвычайно почтительны с И. и так же беспрекословно внимают ему, как сам И. и Ананда слушали Флорентийца.

Младший турок меня очень удивил. Оба они казались мне черноглазыми; но когда луч солнца упал на бронзовое лицо молодого – я увидел, что от густейших длинных черных ресниц и больших зрачков глаза его только кажутся черными. Когда же зрачки сузились на солнце, я увидел темно-синие глаза, очень внимательные и добрые.

Я прямо сгорал от нетерпения прочесть письмо, даже щеки мои покраснели.

Но правила воспитанности не позволяли мне прочесть его немедленно, и, не без вздоха, я положил письмо в карман.

Разговор шел о предстоящей буре, и старший турок передал И., что слухи уже проникли в первый класс, и все волнуются, особенно дамы. Младший прибавил, что сейчас повсюду расклеивают приказ за подписью капитана, чтобы после ужина никто не выходил на палубу и все оставались во внутренних помещениях, так как выходы на палубу будут закрыты ввиду возможной качки.

И. поделился со своими друзьями желанием подежурить в третьем и четвертом классах во время бури. Они сказали, что непременно присоединятся. Но прежде надо было заручиться согласием капитана, который собирался закрыть нас в нашей каюте, приперев дверь какими-то особыми щитами.

Старший турок взялся разыскать капитана, но И. захотел непременно пойти вместе с ним, и мне пришлось остаться с глазу на глаз с молодым турком.

Пока я придумывал, о чем бы мне начать с ним разговор, он сказал, что очень устал от экзаменов, что он естественник и перешел на третий курс Петербургского университета. Я очень удивился, ведь и я студент второго курса того же университета, математик, и поразился, как это я его прежде не приметил. Он же, оказалось, видел меня не раз: и моя репутация не только математика, но и хорошего литератора известна почти всем.

Я смутился, покраснел и стал умолять его ничего не говорить о моих литературных трудах; я давал читать их только близким друзьям и не понимаю, как это могло получить огласку.

По словам турка, все произошло очень просто. На вечеринке в пользу больного товарища кто-то из студентов прочел мой рассказ. Рассказ так понравился публике, что потребовали огласить имя автора. Меня долго вызывали, не поверив в мое отсутствие, и успокоились, только когда кто-то сказал, что я уехал в Азию. И что тогда же было решено послать мой рассказ в журнал, чтобы по возвращении в Петербург меня ждал приятный сюрприз.

Не знаю, чего во мне было больше: авторской гордости или возмущения тем, что могли без меня распорядиться моим рассказом.

Нас прервали раздавшиеся вблизи голоса, и мы увидели капитана и двух наших друзей.

– Я не могу запретить вам помогать беднякам, которым придется хуже всех, если буря грянет, – говорил своим металлическим голосом капитан. – Но зачем вам мучить этих детей? – продолжал он, указывая на нас. – Пусть себе спят или сидят в каютах. Немало будет еще бурь в их жизни. Если хоть от одной их можно уберечь – слава Богу!

– Эти дети будут очень нам нужны как братья милосердия. Дать лекарство или влить рому в рот замерзшему человеку не так легко, когда качка кладет пароход чуть ли не набок, – ответил ему И. – Наши дети закалены и бури не испугаются.

Капитан пожал плечами и заметил, что снимает с себя ответственность, если волна смоем кого-либо из нас: что мы все понимаем, какой опасности подвергается даже бывалый человек в сильную бурю, а не только неопытный мальчик; и что он еще раз предлагает оставить нас, молодых, в каюте.

И. настаивал на своем. Я было думал, что сейчас начнется ссора, но, к моему удивлению, капитан пристально посмотрел на И., поднял руку к козырьку фуражки и, усмехнувшись, сказал:

– Выходит, вы хотите быть капитаном на палубе четвертого класса этой ночью. Согласен ее доверить вам; действуйте как санитары. Но в помощь вам не смогу дать ни одного матроса, кроме разве того рыжего, что приставлен к вашей каюте. Он силач, но глуп; хотя парень он добрый и своей чудовищной силой может быть вам полезен.

С этими словами он нажал кнопку телефона и приказал кому-то принести в каюту четыре пары резиновых сапог и четыре непромокаемых плаща с капюшонами.

На его же звонок взлетел на палубу и наш матрос. Ему капитан приказал находиться всю ночь на палубе при нашей каюте. И если мы куда-либо двинемся ночью – состоять при нас и, в частности, не отлучаться именно от меня ни на шаг: что я в первый раз в море, и хороший матрос должен понимать, что означает приказ капитана не отлучаться от новичка в плавание.

Я был смущен, даже слегка обижен. Но капитан посмотрел на меня весело и сказал, что слуга пригодится, когда я буду обслуживать больных, и я еще буду ему очень благодарен, даже захочу угостить его вином, если борьба со стихией окончится благополучно.

Матросу же он сказал, что его вахта при нас начнется с девяти часов вечера, а сейчас пусть поест и поспит.

Нам принесли плащи и высокие сапоги, которые мне казались резиновыми; но когда я их надел, то почувствовал, как они эластичны и теплы. Всем плащи пришлись впору, только я в своем утопал до пят; а сапоги не лезли на высокого турка. Ему меняли их раза три, пока не подобрали удобные. Мне тоже отыскали плащ поменьше.

Капитан еще раз заходил к нам и снова убеждал И. оставить в каюте хотя бы меня одного, но ни И., ни я на это не согласились. Тогда он сказал, что направляется в четвертый класс и приглашает нас, чтобы мы могли познакомиться с возможной ареной наших будущих действий. Мы с восторгом приняли это предложение.

У лестницы матрос нес вахту, получив строгое распоряжение никого – ни под каким предлогом – не пропускать без нас наверх, пусть это даже будет старший помощник.

Мы двинулись вслед за капитаном. К нам присоединились еще два офицера и два матроса. Теперь целой группой мы двинулись вперед.

Капитан отдал приказание вызвать еще и старшего врача. Я был поражен не только количеством людей, но и длиной коридоров, высотой всевозможных общих комнат и роскошью, царившей всюду. Буквально все комнаты утопали в цветах.

Публика из первого класса сидела в тени палубы в глубоких креслах и шезлонгах. Нарядная жизнь была ключом в каждом уголке, в воздухе разносился аромат духов и сигар.

Наконец мы спустились в третий класс. Я ожидал встретить ту же грязь, которую наблюдал в вагонах этого класса в русском поезде. Но сразу понял, что жестоко ошибся.

Здесь было очень чисто. Правда, ноги не тонули в коврах, но на полах лежал линолеум красивых ярких рисунков. Должно быть, билеты и здесь стоили недешево, так как бедноты совсем не было видно. Мелькали студенческие фуражки, ехали целые семьи, внешний вид которых говорил об известном недостатке. Общая столовая была красива, с деревянными креслами-вертушками, залитая электрическим светом; были здесь и гостиная, и читальня, и курительная комната.

Наконец мы спустились еще ниже и очутились у самой воды. Носовая часть была отведена под четвертый класс: крышей служило помещение третьего класса, где каюты тянулись от носа до кормы.

В четвертом классе кают не было вовсе. Пассажиры – сплошь бедняки, большей частью семьи сезонных рабочих или бродячие музыканты, жалкие балаганные фокусники и петрушки. В отдельном углу расположился целый цыганский табор. Со всех сторон слышались самые разнохарактерные наречия и возгласы. Тут были и торговцы, ехавшие со своим товаром и желавшие, очевидно, быть ближе к трюму; тут были и конюхи, сопровождавшие лошадей, – словом, глаза разбегались, – и я снова тарасил их, позабыв обо всем на свете.

– Не отставайте от меня, – услышал я повелительный голос капитана и в ту же минуту почувствовал, что И. взял меня под руку, шепнув, чтобы я запоминал расположение парохода, а не увлекался картинностью этого зрелища.

Я вздохнул. Столько возможностей для наблюдений – и надо идти мимо всего, памятуя только о буре, которая то ли будет, то ли нет: и я продолжал думать, что вряд ли она случится: солнце сияло, мы все еще шли по глади, и волну гнал только наш пароход-великан.

Мы внезапно остановились. В самом неудобном месте, в носу парохода, между бочками и ящиками, на ветру, сидела молодая, до крайности измученная женщина, держа на коленях ребенка лет двух, прелестного живого мальчугана, беленького, как его мать. Рядом лежала девочка лет пяти, похоже, больная.

Положив головку, мертвенно бледную, на колени матери, она, очевидно, была в забытии.

– Почему вы выбрали такое неудобное место? – спросил капитан, обращаясь к женщине, на красивом лице которой изобразился ужас и глаза наполнились слезами.

– О, не выбрасывайте нас, – взмолилась она по-французски. Не понимая, видимо, английской речи капитана, она испугалась звука его повелительного металлического голоса и глядела теперь с мольбой. Капитан оглянулся, говоря, что его французский оставляет желать лучшего.

И. выдвинул меня вперед, я поклонился женщине и перевел ей вопрос капитана.

В ответ на это слезы градом покатались из ее глаз, и она объяснила, что это единственное место, где ее, наконец, перестали донимать жестокие спутники; что сердобольный матрос устроил их здесь и пригрозил двум туркам, которые не давали ей проходу.

– Девочка не больна, мы только голодны: не выбрасывайте нас, мы едем к моему отцу в Константинополь. Мой муж умер, его задавило на стройке, и французская компания не желала нам ничего заплатить. Но я не могла ждать суда, мы умерли бы с голода. Пришлось все продать и кое-как добраться до Севастополя. Я отдала последние деньги за билет; не знаю, как и доедем. Но билет мой в порядке, – быстро говорила бедняжка, в полном смятении протягивая капитану билет.

Должно быть, нужда свалилась на нее внезапно. Костюм, вероятно еще совсем недавно купленный, был в пыли и пятнах; платье на детях тоже новое и тоже перепачканное в дороге. Высовывавшиеся из-под юбки ножки девочки были обуты в крохотные лакированные туфельки, совершенно не пригодные для далекого путешествия.

Мольба и страх за детей, которых она прижимала к себе, слабость, отчаяние – столько чувств отражалось в глазах этого существа, что у меня зашекетало в горле и, не думая, что я делаю, я наклонился и поднял девочку на руки.

– Нельзя ее здесь оставлять, – сказал я И. – Уступим ей свою каюту.

– В этом мало пользы, – ответил за него капитан. – Они все нуждаются в медицинской помощи. На пароходе есть платные палаты в лазарете первого класса. Если вы можете оплатить ей дорогу в такой каюте, – она получит возможность отдохнуть, набраться сил и сойти с парохода здоровой. Ведь она сейчас упадет в обморок.

Не успел он договорить, как доктор бросился к валившейся на бок женщине.

Капитан дважды свистнул в висевший у него на груди свисток, и перед нами вырос здоровенный матрос.

– Разогнать толпу, – приказал ему капитан. И точно по мановению волшебной палочки пассажиры расселись по своим местам, не дожидаясь вторичного окрика. – Теперь – носилки, – велел капитан.

Пока ходили за носилками, И. поинтересовался, куда и кому внести деньги за отдельную палату для бедной женщины. Капитан написал записку, передал ее доктору, приказав поместить мать с детьми в лучшую палату лазарета – каюту 1А. Деньги следовало внести судовому кассиру, что вызвался немедленно исполнить младший из турок.

Женщина все еще не приходила в себя, и ее уложили на носилки. Матрос протянул руки, чтобы взять девочку, но она крепко обхватила мою шею руками и громко заплакала. Я прижал девочку к себе и сказал И., что сам отнесу ребенка и останусь с больной матерью, пока она не придет в себя. Но И. отрицательно покачал головой:

– Отнеси дитя, дай матери капель из этого пузырька и немедленно возвращайся. У нас много дел. Но бедняжку мы не забудем. Скажи ей, как нас найти, пообещай, что мы вскоре ее навестим. Капли дай ей так, чтобы никто не видел, – шепнул он мне, и я двинулся вслед за носилками.

Шли мы долго, думаю, не менее двадцати минут мы все взбирались по лестницам и коридорам, обходя стороной парадные комнаты.

И чего только тут не было, в этом плавучем доме! И прачечные, и сушильня, и провиантские склады, и бельевые, и швейная мастерская, и специальное хранилище для пресной воды, и гимнастический зал и плавательный бассейн, и множество кухонь, и ледники, – я просто пришел в растерянность и один ни за что бы не нашел дороги обратно.

Каюта, куда мы наконец добрались, была вся белая, имела две койки-дивана внизу и одну наверху. Все в ней было роскошно и чисто. Пока сестра ходила за халатом для больной, а доктор прошел в аптеку, я быстро влил в рюмку капель, которые дал И., и поднес ее к губам больной. Она открыла глаза, выпила лекарство и снова опустила голову на подушку.

Но я сразу заметил, что к щекам ее прилила кровь; она шевельнулась, вздохнула, а когда вошел доктор, приподнялась и спросила твердым голосом:

– Где я?

Я подал ей девочку и сказал, что она находится в лазарете, где и пробудет до конца путешествия. Я просил ее, от имени капитана, ни о чем не беспокоиться и пообещал, что зайду к ней вместе с братом. Объяснив, где нас найти в случае необходимости, я перевел ей предложение доктора пойти с детьми в ванную комнату и переодеться в то, что полагается носить в лазарете.

Простившись с ней, я было решил, что мне самому ни за что не выбраться отсюда: но у выхода из лазарета увидел того же матроса-верзилу, который сопровождал носилки и ждал теперь меня, чтобы отвести обратно.

На этот раз мы добрались довольно быстро, потому что этот верзила так же летал по лестницам, как наш рыжий великан.

Я нашел капитана и его спутников за работой. Вся густая толпа была разделена на женское и мужское царства. Женщин и детей поместили в середине палубы, где имелись стены из сплошных бортов. Матросы принесли железные щиты и отделили ими носовую часть палубы, чтобы уберечь слабых от сквозного ветра.

Мужское население встретило это распоряжение капитана в штыки. Тогда он свистнул особым манером – и точно из-под земли выросли четыре вооруженных матроса. Им капитан приказал нести здесь вахту, сменяясь каждые два часа.

Еще с десятков матросов получили приказание крепко привязать весь груз и даже пассажиров, за чем остался наблюдать один из офицеров.

Мы спустились в трюм, который тоже состоял из нескольких этажей. Нижние были доверху забиты ящиками и тюками, а на верхних находились животные.

Коров и лошадей капитан приказал стреножить. Я заметил, что в стойлах стены были обиты толстыми соломенными матрасами.

Отдав еще какие-то специальные распоряжения, капитан опять поднялся в четвертый класс, и мы последовали за ним.

Здесь он обратился к мужчинам с речью, которую мы переводили на все языки, правда в основном помогали наши турки, знавшие восточные и балканские наречия. Капитан сказал, что всякого, кто будет замечен в пьянстве или игре в кости в эту ночь, немедленно посадят в карцер. Тем, у кого была с собой водка, он велел сдать ее немедленно. Должно быть, никому не хотелось в карцер: и со всех сторон, без всякого сопротивления, протягивали бутылки и даже бутылки водки. Если кто-то медлил, то под красноречивыми взглядами соседей неохотно, но все же отдавал припасенное в дорогу.

Нечего было опасаться, что кому-то удастся утаить флягу. Теперь уже проявляли свои сыскные таланты цыгане. Обиженные и разлученные со своими женщинами, отдавшие водку из страха перед наказанием, они вымещали на спутниках свою досаду; и невозможно было укрыть пьянящее зелье от их зорких, пылающих глаз.

Вскоре большая корзина была доверху наполнена и унесена. Капитан добавил, что всякий имеет право передать на хранение деньги судовому кассиру – независимо от суммы – и затем получить ее, где и когда пожелает; и если желающие найдутся, – он пришлет кассира в помещение третьего класса. На этом наш обход окончился.

Когда мы вернулись к себе, И. дал мне еще одну омерзительную пилюлю. На этот раз голова не кружилась: но тошнота, удары в висках и какое-то трепетание тела были, пожалуй, еще сильнее. Я сидел на диване, и мне казалось, что сейчас что-то лопнет у меня в голове и спине. Весь я покрылся испариной и снова не мог двинуть ни одним пальцем. Я слышал какой-то разговор, но даже не смог понять, кто это и о чем говорит.

Долго ли так лежал в забытии, я не знал; но внезапно ощутил какую-то легкость, гибкость в теле, словно проспал несколько часов кряду. А оказалось, что прошло только двадцать минут. И. сказал, что сейчас подадут обед и надо с ним поторопиться, так как необходимо принять лекарство в третий раз. Я весело отвечал, что если сейчас могу горы двигать, то что же будет со мною в третий раз?

Но как бы то ни было, следовало поспешить. В кармане у меня лежало письмо Флорентийца, сжигавшее меня уже столько часов; и прежде всего я хотел прочитать его, о чем и заявил И.

Он согласился и вышел на палубу, где нам сервировали обед. Солнце уже стояло низко, очевидно было часов семь.

Я вынул письмо – и позабыл обо всем на свете, так тронули меня нежные, полные любви слова моего дивного друга.

Флорентиец писал, что мысленно следит за каждым моим шагом, и разделенные условностью расстояния, мы все так же крепко слиты в его дружеских мыслях и любви, верность которой я имел случай не раз проверить в эти дни. Дальше он говорил, что вынужден ограничиться коротким письмом, так как времени до отхода поезда осталось немного: но просит меня быть крайне внимательным во время путешествия по морю и не отходить от И., как я делал это и раньше, потому что врагам удалось пустить ищеек по нашему следу.

Желая мне полного спокойствия, он говорил, чтобы я не впадал в отчаяние от любых новых поворотов в собственной судьбе, а только видел перед собою одну цель: жизнь брата. И был бы верен ей так, как он, Флорентиец, верен своей дружбе со мною.

Я хотел еще раз перечитать это дивное письмо, но И. увел меня обедать, обратив мое внимание на позднее время. Мы быстро пообедали. И. ел мало, пристально наблюдая близящийся закат. Он же рекомендовал мне оставить письмо в каюте и уложил меня, сказав, что через полчаса даст третью порцию лекарства.

Я задремал, но проснулся от голоса И., машинально проглотил пилюлю и заснул мгновенно, даже не успев ощутить, как она подействовала.

Проснулся я, как мне показалось, от толчка; на самом же деле это хлопнула дверь нашей каюты. Я поднялся, с удивлением разглядывая И., который был в плаще и резиновых сапогах.

– Одевайся скорее, Левушка. Капитан прислал сказать, что буря начинается и разразится, верно, раньше утра. Но качка так велика, что добрая половина людей уже лежит влжку. Надо срочно спускаться в четвертый класс.

Я стал надевать сапоги и плащ, а И. достал две походные аптечки на крепких ремнях; одну, побольше, надел себе через плечо, другую подал мне.

– У тебя будут запасные лекарства. Возьми непременно пилюли Али и вот эти, что я вынул из твоего саквояжа; их тебе посылает Флорентиец.

И он подал мне зеленую коробочку из эмали с белым павлином на крышке.

– Взгляни, как устроены отделения аптечки, – с этими словами он отстегнул кнопку, поднял крышку твердого чехла, и я увидел три ряда пузырьков и несколько прозрачных резиновых капельниц с отметками: две капли, пять, десять. Я был поражен невиданной прозрачной резиной, но размышлять было некогда, любоваться зеленой коробочкой с павлином – тоже. Я поспешил засунуть обе коробочки в аптечку.

Физически я чувствовал себя прекрасно, но казалось, что меня шатает. И. рекомендовал мне шире расставлять ноги, потому что это качка дает о себе знать.

Мы вышли из ярко освещенной каюты, и я поразился перемене в погоде. Лил дождь, свистел ветер; тьма была вокруг непроглядная. Возле меня выросла высокая тень – это был наш матрос-верзила. Он точно прилип ко мне. Я почувствовал, что И. взял меня под руку, и мы двинулись к зиявшей светлой дыре – трапу вниз. Здесь мы встретили наших друзей, направлявшихся к нам. У них были такие же аптечки. Не обменявшись ни словом, мы стали спускаться.

Глава XII

Буря на море

Не успел я преодолеть и пяти ступенек, как что-то сильно толкнуло меня в спину, и я неминуемо полетел бы вниз головой, если бы мой верзила не принял меня на руки, как дети ловят мяч, и в один миг не очутился со мною на площадке, поставив меня на ноги.

Я не мог сообразить, что случилось, но увидел, что И. держит младшего турка за плечи, а отец освобождает его ногу из щели между перилами. Каким-то образом он зацепился за них и, падая, толкнул меня головой в спину, – отчего я и полетел вниз.

Все это было, несмотря ни на что, комично, а молодой турок имел такой несчастный и сконфуженный вид, что я, забыв про «такт», так и залился смехом. Верзила не смел, очевидно, хохотать, но фыркал и давился, что меня смешило еще больше.

– Алло, – раздалось за моей спиной. – Это кто же сыскался такой смельчак, чтобы встретить дикую качку веселым смехом?

Я узнал голос капитана и увидел его площадкой ниже в мокром плаще и капюшоне.

– Так это вы, юноша, такой герой? Можно не беспокоиться, вы будете хорошим моряком, – прибавил капитан, подмигивая мне.

– Герой не я, а вот этот молодец, – сказал я капитану, указывая на нашего матроса. – Если бы не он, – пришлось бы вам меня отправить в лазарет.

– Ну, тогда бы постарался поместить вас в каюту рядом с прекрасной незнакомкой. Вы имеете большой успех у ее маленькой дочери, чего доброго и мать последует ее примеру.

Он улыбался, но улыбались только его губы, глаза были пристальны, суровы.

И я вдруг как-то всем существом своим ощутил, что опасность данного момента очень велика.

Нас внезапно так качнуло, что молодой турок снова чуть не упал. Капитан взглянул на его отца и сказал, что он должен взять сына под руку, когда мы доберемся до нижней палубы: а сведет его с лестницы провожатый. По его свистку взбежал снизу матрос и стал придерживать молодого человека.

Спускаться было трудно, но, к своему удивлению и к большому удовольствию моей няньки, двигался я все лучше.

Мы остановились у подножья лестницы, чтобы разделить между собой поле деятельности. Здесь был сущий ад. Ветер выл и свистел: волны дыбились уже огромные. Люди стонали; женщины и дети плакали: лошади в трюме ржали и бились: коровы мычали: блеяли овцы, – ничего нельзя было расслышать, все сливалось в какой-то непрерывный вой, гул и грохот.

И. потянул меня за рукав, и мы пошли в женское отделение. Увидев нас, женщины кинулись к нам: но тотчас же многих отбросило назад – это пароход взмыл вверх и снова ухнул вниз, как в пропасть. И. подходил по очереди к наиболее нуждавшимся в помощи: я набирал нужные капли, матрос приподнимал головы страдалец, и я вливал им лекарство.

Зловоние здесь стояло такое, что, если бы не ветер, я вряд ли смог его вынести.

Постепенно мы обошли всех, и люди стали затихать и даже засыпали. Два матроса, с горячей водой, со щетками и тряпками, навели в помещении чистоту.

Мы же отправились на помощь к туркам, которые не успели управиться и наполовину, поскольку мужчин здесь было гораздо больше. Несколько человек чувствовали себя хорошо и вызвались нам помогать. Вскоре замерли стоны и проклятия, люди и здесь стали засыпать.

И. дал двум конюхам пучки какой-то сухой травы и велел привязать их в трюме, объяснив, что она произведет на животных такое же успокаивающее действие, как лекарство на людей.

Турки остались на палубе, а мы спустились в трюм, где И. показал, в каких местах следует привязать траву.

Возвратившись, И. предложил здоровым тоже принять лекарство, говоря, что несколько часов сна подкрепят их силы и они смогут помогать остальным, когда начнется буря.

– Буря? Да разве это еще не буря?! – слышались возгласы.

– Нет, это еще не буря, а только легкая качка, – раздался рядом голос капитана. – Поэтому примите лекарство и поспите немного, если вы действительно отважны. Каждая сильная рука и храброе сердце пригодятся.

Неожиданное появление капитана и его сильный, звенящий голос подействовали на храбрецов. Они молча открывали рты, и мы влили всем наши чудо-капли.

Капитан спросил И., сколько длится успокоительное действие его капель, и И. ответил, что не менее шести часов люди будут спокойны. Капитан вынул часы, нажал пружину, и часы звонко отсчитали двенадцать.

– Буря начнется часа через два, быть может – три. Я решил перевести часть пассажиров из третьего класса в гостиные второго, а весь четвертый класс поместить в третий, – сказал нам капитан. – Вы, пожалуйста, не уходите, пока здесь никого не останется. Быть может, кому-то придется помочь еще раз.

И он так же быстро исчез, как неожиданно появился. Он был вездесущ: забегал на капитанский мостик, где нес вахту старший помощник, отдавал распоряжения и успевал заглянуть в каждый уголок, он всех ободрял и успокаивал, для всех у него находилось доброе слово.

Вскоре пришли матросы и офицер, разбудили женщин и предложили перебраться в каюты третьего класса вместе с детьми. Не обошлось без криков и истерических воплей: но все же вскоре все устроилось.

Вместе с командой мы отправились будить мужчин. Здесь дело пошло лучше: мужчины мгновенно осознали опасность и быстро перебрались туда, куда им было указано.

Но вот снова заплакали дети; пришлось повторно давать лекарство, причем вначале И. пристально вглядывался в детские лица, прислушивался к дыханию – и давал новую порцию только в случае острой необходимости. Подле некоторых стариков-рабочих И. задерживался подолгу и совал им, уже дремавшим, какие-то конфеты в рот.

Мы собирались остаться на дежурство в гостиных второго класса, но посланец от капитана просил нас поспешить к умирающей девушке.

Мы оставили турок внизу и поднялись в первый класс. Со всех сторон неслись вопли, бегали горничные и лакеи, и, пожалуй, картина человеческих страданий была здесь много отвратительнее, так как требовательность, злость и эгоизм выливались в ругательства и дурное обращение с судовой прислугой, уже сбившейся с ног.

Нас привели в каюту, где мать с растрепанными длинными волосами стояла на коленях у изголовья дочери, находившейся в глубоком обмороке. Она уже ничего не соображала, рыдая и выкрикивая какие-то итальянские слова, она рвала на себе волосы и ломала руки. И. с помощью матроса уложил ее на диван и велел мне дать ей пять капель, указав нужный пузырек. А сам наклонился над девушкой, которую судовой врач не мог привести в чувство уже более часа.

Как только я дал матери лекарство, она мгновенно заснула, и я подошел к И.

– Случай тяжелый, Левушка, – сказал И. Он достал из своей аптечки какое-то остро пахнущее снадобье и пустил девушке по одной капле в каждую ноздрю. Через минуту она сильно чихнула. И. ловко открыл ей рот, а я влил ей другие капли с помощью матроса, которому пришлось упереться коленом в диван и поддерживать меня, иначе бы я полетел на спину от нового толчка, а девушка упала на диван.

– Теперь здесь все будет благополучно, поспешим в лазарет, – шепнул мне И.

Мы поручили вошедшему доктору его пациентов; он был очень удивлен тем, что девушка спит и ровно, мирно дышит. Но И. так спешил, что даже недослушал его.

Кратчайшим путем, по какой-то винтовой лестнице, мы быстро добрались до лазарета, где тоже стонали и плакали. Но мы, минуя всех, почти вбежали в палату А. Бедная мать не знала, что ей делать с двумя рыдавшими детьми и готова была сама заплакать в творившемся вокруг аду. Каждый винт скрипел и визжал на свой лад; весь пароход дрожал и трясся, как будто бы был сделан из топкого листового железа; а протяжные стоны кидаемых из стороны в сторону людей, сливаясь с воем ветра, казались завыванием нечистой силы.

Почти мгновенно мы дали всем лекарство. Женщина так умоляюще взглянула на И., что он пожал ей руку и сказал:

– Мужайтесь. Мать должна быть примером своим детям. Ложитесь подле них и постарайтесь уснуть.

И снова каким-то кратчайшим путем мы помчались на мостик к капитану.

Приходится признаться, что И. держал меня под руку, а матрос буквально подталкивал сзади, и только таким способом я мог карабкаться по лестницам и переходам. Иначе я раз десять полетел бы вниз головой и, наверное, убится насмерть. Выйдя на палубу, мы попали в кромешный ад. Сверкали молнии, удары грома, подобно неумолчной канонаде, сливались с воем и свистом ветра. Молнии сразу ослепили нас, и мы вынуждены были остановиться, так как в ледяной атмосфере бури было трудно даже дышать.

Мы добрались до капитанского мостика с огромным трудом. Я не успел даже опомниться, как меня обдало с ног до головы холодной водой. Я отряхивался, как пес, протирая глаза руками, и открыл их с большим усилием, но все же во тьме, озаряемой вспышками, по-прежнему ничего не видел.

Я чувствовал, что меня тащат сильные руки, и пошел, если только можно назвать этим словом то, что проделывали мои ноги и тело. Я подымал ногу и тут же валился на свою няньку-матроса. То я падал назад и слышал крик И.: «Пригнись». Не успевал нагнуться, как снова валился набок. Эти несколько десятков шагов показались мне долгими, как дорога к несбыточному счастью.

Но вот я услышал, как матрос-верзила что-то крикнул, рванул меня вперед, и в одно мгновение мы очутились возле капитана и его помощников. А в следующий момент нас прижало к стенкам капитанской рубки, и чудовищная волна прошла стороной.

Что произошло в следующий момент, не поддается никакому описанию.

Огромная водяная стена обрушилась на пароход, так ударив по рубке, что она задрожала, а И. с матросом бросились к рулевому колесу, которое капитан и помощники уже не могли удерживать втроем.

– Левушка, – кричал И. – скорее, из зеленой коробочки Флорентийца, пилюли всем, капитану первому.

Я был прижат к рубке таким сильным ветром, что стоял очень устойчиво. Это помогло мне без труда достать коробочку, но я понимал, что, если снова ударит волна, мне не удержаться на ногах. Я собрал все свои силы, в воображении моем мелькнула фигура Флорентийца, о котором я неотступно думал все это время. Сердце мое вдруг забилося от радости, и так близок был ко мне в эту минуту мой друг, точно я увидел его рядом. Положительно, если бы я спал, то был бы уверен, что вижу его во сне, – так отчетливо нарисовалась мне белая фигура моего дорогого покровителя.

Я почувствовал такой прилив сил, словно мой обаятельный друг и в самом деле был подле. Я вынул пилюли, мне стало весело, и я, смеясь, наклонился к капитану. Тот даже рот раскрыл от удивления, увидев меня смеющимся в миг ужасной опасности, чем я немедленно воспользовался, сунув ему пилюлю в рот.

Точно дивная рука Флорентийца помогла мне – я забыл о толчках, дрожании судна, ударах волн; забыл о смерти, таящейся в любом последующем натиске стихии, – я всем раздал пилюли и последним проглотил сам. Глаза привыкли, вокруг точно посветлело. Но различить, где кончается вода и начинается небо, не было возможности.

Теперь все мужчины держали руки на рулевом колесе. Мне все еще казалось, что я вижу высокую белую фигуру Флорентийца, стоящую теперь рядом с И. Он как бы держал свои руки на его руках. Да и командовал капитан, казалось, под диктовку И. Мы плыли, а вернее ухали вниз и взлетали на горы довольно долго.

Все молчали.

– Еще один такой крен, и пароход ляжет, чтобы уже не встать, – прокричал капитан.

Не знаю, должно быть, пилюля так раззадорила меня, что я прокричал капитану в самое ухо:

– Не ляжет, ни за что не ляжет, выйдем невредимыми. – Он только повел плечами, и это был жест снисхождения мне, мальчишке, не понимающему смерти.

Между тем становилось светлее. Теперь я уже мог рассмотреть тот живой водяной ад, в котором мы плыли, если можно обозначить этим словом ужас уханья в пропасть и мгновенного взмывания в гору.

Море представляло собой белую кипящую массу. Временами вздымались высоченные зеленые стены воды, с белыми гребнями, точно грозя залить нас сразу со всех сторон и похо-

ронить в пропасти. Но резкая команда капитана и искусные руки людей резали водяные стены, и мы ухали вниз, чтобы в который уже раз благополучно выскочить на поверхность.

Но вот я заметил, что капитан вобрал голову в плечи, крикнул что-то И. и налег всем телом на руль. Мне снова почудилась высокая белая фигура Флорентийца, коснувшаяся рук И., который двинул штурвал так, как хотел капитан и чего не мог добиться от своих помощников. И пароход послушно повернулся носом вправо. Сердце у меня упало. На нас шла высочайшая гора воды, на вершине которой кружился водяной столб, казалось, подпиравший небо.

Если бы вся эта масса ударила нам в борт, судно неминуемо опрокинулось бы. Благодаря ловкому маневру пароход прорезал брюхо водяной горы, и вся тяжесть обрушилась на его кормовую часть. Раздался грохот, точно выпалили из пушек; судно вздрогнуло, нос задрался вверх, точно на качелях, но через минуту мы снова шли в пене клокотавшего моря, и волны были ужасны, заливали палубу, но не грозили разбить нас в куски.

Опомнившись, я стал искать глазами Флорентийца, но понял, что то был лишь мираж. Я настолько был полон мыслями о дивном своем друге, так верил в его помощь, что он мерещился мне даже здесь.

– Мы спасены, – сказал капитан. – Мы вышли из полосы урагана. Качка продлится еще долго, но смертельная опасность отступила.

Он предложил нам с И. пойти в каюту. Но И. ответил, что мы устали меньше, чем он, и останемся до тех пор, пока опасность существует. А сейчас пусть отпустит старшего помощника и вызовет ему замену.

Не знаю, много ли прошло времени. Становилось все светлее; буря была почти так же сильна, но мне казалось, что лицо капитана прояснилось. Он был измучен, глаза ввалились, лицо было бледно до синевы, но суровости в нем уже не было.

И. посмотрел на меня и велел дать всем по пилюле из черной коробочки Али.

Я думал, что качка уже не так сильна, отделился от угла, где стоял все это время, и непременно упал бы, если бы И. меня не поддержал.

Я очень удивился. Несколько часов назад я так легко проделал все это в самый разгар урагана; а теперь без помощи не смог бы обойтись, хотя стало гораздо тише. С большим трудом я подал всем по пилюле, с неменьшими трудностями проглотил ее сам и едва вернулся на прежнее место.

Теперь я увидел, что в углу был откидной стул. Я опустил сиденье и сел в полном недоумении. Почему же в разгар бури, когда мне мерещился Флорентиец, я двигался легко, а теперь не могу сделать и шага, да и сию с трудом, держась крепко за поручни.

Неужели одна только мысль о дорогом друге, которого всю ночь я звал на помощь, помогла мне сосредоточить волю? Я вспомнил, какое чувство радости наполнило меня; каким я сознавал себя сильным; как смеялся, давая капитану пилюлю, – а вот теперь расслабился и стал обычным «Левушкой-лови ворон».

Картина моря так менялась, что оторваться от нее было жаль. Становилось совсем светло; ветер разорвал черные тучи, и кое-где уже проглядывали клочки голубого неба. Качка заметно слабела; иногда ветер почти стихал, и слышался только шум моря, которое стало совершенно черным, с яркими белыми хребтами на высоких волнах. Качка все еще была сильная, идти мне было трудно; и я удивился, как легко все это делал И. За что бы он ни взялся, думалось мне, – все он делает отлично.

Я представил его – ни с того, ни с сего – за портняжным столом, и так это было смешно и глупо, что я залился смехом. И. поглядел на меня не без удивления и сказал, что уже второй раз мой героизм проявляется смехом.

– Отнюдь не героизм заставил меня смеяться, – ответил я, – а только моя глупость. Я вдруг представил вас портным и решил, что и в этой роли вы были бы совершенны. Но игла и нитка в ваших руках так комичны, что я просто не могу не хохотать, – ответил я со смехом.

Мы подошли к корме, и мой смех сразу оборвался и замер на губах.

Море точно разрезали ножом на две неравные части. Сравнительно небольшое пространство, по которому мы двигались, было черным, в белой пене, но не страшным. Но за этой черной полосой начинались высочайшие водяные горы; стены зеленой воды с белым верхом налетали друг на друга, точно великаны в схватке; постояв мгновение в смертном объятии, они валились в пропасть, откуда на смену им вздымались новые водяные горы-чудища.

– Неужели мы выбрались из этого ада? – спросил я. – Неужели смогли выйти живыми?

Мне страстно хотелось спросить, думал ли И. о Флорентийце в самую страшную минуту нынешней ночи; но мне было стыдно признаться в своей детскости, в игре фантазии, принявшей мысленный образ друга, несколько раз спасавшего мне жизнь за это короткое время, за истинное виденье. Я зывал и сейчас всем сердцем к нему, и думал о нем больше, чем о брате и даже о самом себе.

И. стоял молча. На его лице было такое безмятежное спокойствие, такая глубокая чистота и радость светились в нем, что я невольно спросил, о чем он думает.

– Я благословляю жизнь, мой мальчик, даровавшую нам сегодня возможность дышать, любить, творить и служить людям со всем напряжением сил, всей высотой чести. Благослови и ты свой новый день. Осознай глубоко, что ночью мы могли погибнуть, если бы нас не спасли милосердие жизни и самоотверженность людей. Вдумайся в то, что этот день – новая твоя жизнь.

Ведь сегодня ты мог уже и не стоять здесь. Привыкни встречать каждый расцветающий день, как день новой жизни, где только ты, ты один делаешь запись на чистом листе. В течение этой ночи ты ни разу не испытал страха; ты думал о людях, жизнь и здоровье которых были в опасности. Ты забыл о себе.

– О, как вы ошибаетесь, Лоллион, – воскликнул я, назвав его в первый раз этим ласкательным именем. – Я действительно не думал ни о себе, ни об опасности. Но размеры опасности я понял только сейчас, когда смотрю на этот ужас позади нас, на эту полосу урагана, от которого мы ушли. О людях я не думал, я думал о Флорентийце, о том, как бы он отнесся к моим поступкам, если бы был рядом. Я старался поступать так, точно он держал меня за руку. И так полон был я этими мыслями, что он даже пригрезился мне в ту минуту, когда на нас обрушивался страшный вал. Я точно увидел его, ощутил и потому так радостно смеялся, чем удивил капитана и, вероятно, вас. Поэтому не думайте обо мне лучше, чем я есть на самом деле.

– Твой смех меня не удивил, как и твои радость и бодрость ночью. Я понял, кого ты видишь перед собой, знаю теперь, как велики твои привязанность к нему и верность. Думаю, что если верность твоя не поколеблется, – ты в жизни пройдешь далеко. И когда-нибудь станешь сам такой же помощью и опорой людям, как он тебе, – ответил мне И.

Здесь, на корме, было видно, как продолжала бушевать буря. Шум моря все еще походил на редкие пушечные выстрелы, и говорить приходилось очень громко, пригибаясь к самому уху собеседника.

От страшной полосы урагана мы уходили все дальше; и теперь – издали – это зрелище было еще более жутким.

Если бы художник изобразил такую необычайную картину моря, точно искусственно разделенного на черные, грозные, но не слишком опасные волны и зеленые водяные горы, несущие смерть, – каждый непременно подумал бы, что художник излил на полотно бред своей больной души.

Трудно было оторваться от этого устрашающего зрелища. Грозы уже не было, но небо по-прежнему было еще черным, и странно поражали лоскутья синего бархата, мелькавшие кое-где на фоне туч.

Позади раздался голос капитана, шагов которого мы не слышали.

– Двадцать лет плаваю, – говорил он, – обошел все океаны, видел немало бурь, бурь тропических. Но ничего подобного сегодняшней ночи не переживал, никогда такого количества смерчей видеть не приходилось. Смотрите, смотрите, – вдруг громко закричал он, повернувшись налево и указывая на что-то рукой.

На гигантской водяной горе стояло два белых, кипящих столба, вершины которых уходили в небо.

Капитан бросился к рубке, я хотел было бежать за ним, но И. удержал меня, сказав, что этот смерч пройдет мимо и гибелью нам не грозит. Присутствие капитана на мостике необходимо; но в нашей помощи нужды уже нет.

Смерч действительно несся мимо; но вдруг я увидел, как из водяной стены справа стала вырастать, вращаясь колесом, струя воды и через минуту вырос и на ней огромный водяной столб. Он понесся навстречу двум двигавшимся слева, и вдруг все три столба столкнулись, раздался грохот, подобный сильнейшему удару грома, – и на месте их слияния образовалась пропасть.

Линия, разделявшая море на две части, разметалась; волны-стены точно ринулись в погоню за нами. Это было так страшно, что я с удивлением смотрел на И., не понимая, почему он не бежит к капитану. Но он молча взял меня за руку и повернул лицом вперед. И я с удивлением обнаружил очистившееся небо, очертания берегов вдалеке.

– Капитан прав. Сейчас подходить к берегу нельзя. Быть может, мы даже минуем порт, если на пароходе достаточно угля, воды и запасов, и пойдем дальше. Но от гибели мы ушли, – сказал И. – Такие ураганы вряд ли повторяются дважды. Но море, по всей вероятности, еще не менее недели будет бурным.

Я начинал ощущать, что качка становится все сильнее; море вновь закипало и шумело грознее, и ветер налетал свистящими шквалами. Но до высоты гор волны больше не вздымались.

Мы прошли к капитану, осматривавшему окрестности в подзорную трубу. Он изменял направление парохода и приказал немедленно позвать старшего офицера с полным отчетом о состоянии запасов.

Когда явился старший помощник и доложил, что пароход может плыть еще двое суток ни в чем не нуждаясь, капитан приказал держать курс в открытое море.

Оставалось только в сотый раз изумляться прозорливости И.

Как бы ни было волшебное действие подкрепляющих средств Али и Флорентийца, все же не только мои силы подходили к концу. Все, кто провел ночь на палубе, стали похожи на привидения при свете серого дня. Один И. был бледен, но бодр. Капитан же буквально валился с ног.

Передав команду двум помощникам и штурману, он велел хорошенько накормить матросов и дать им выспаться. Нас пригласил в свою каюту, где мы обнаружили прекрасно сервированный стол.

Как только я сел в кресло, то почувствовал, что встать у меня нет больше сил. И я совершенно ничего не помню, что было дальше.

Очнулся я у себя в каюте свежим и бодрым, забыв полностью обо всем и не соображая, где я. Так лежал я около получаса, пока не начал припоминать, что же было, и воспринимать окружающее.

Память вернулась ко мне вместе с пережитым ночью. Теперь же сияло солнце.

Я встал, оделся в белый костюм, приготовленный, очевидно, заботливой рукой И., и собрался отыскать его и поблагодарить за внимание и заботу. Я никак не мог связать всех событий в одну нить и понять, каким же образом оказался в каюте.

Мне было стыдно, что я так долго спал, в то время как И., вероятно, уже кому-нибудь помогает.

В эту минуту открылась дверь, и мой друг, сияя безукоризненным костюмом и свежестью, вошел в каюту. Я так обрадовался, словно не видел его целый век, и бросился ему на шею.

– Слава Богу, наконец-то ты встал, Левушка, – сказал он, улыбаясь. – Я уже решил было применить пожарную кишку, зная твою любовь к воде.

Оказалось, я спал более суток. Я никак не мог поверить в это, и все переспрашивал, который же был час, когда я заснул. И. рассказал, как ему пришлось перенести меня на руках в каюту и уложить спать голодным.

Есть я сейчас хотел ужасно; но ждать мне не пришлось, так как в дверях появился сияющий верзила и сказал, что завтрак подан.

Он, улыбаясь во весь рот, подал мне записку, тихонько шепнув, что это из каюты 1 А, записку передала красивая дама и очень просила зайти к ней.

Я смутился. Это была первая записка от женщины, которую мне так таинственно передавали. Я прекрасно знал, что в записке этой не может быть ничего такого, чего бы я не мог прочесть даже первому встречному. И я злился на свою неопытность, неумение владеть собой и вести себя так, как подобает воспитанному человеку, а не краснеть, как мальчишка.

Снова маленькое словечко «такт», которое буря выбила из моей головы, мелькнуло в моем сознании. Я вздохнул и приветствовал его как далекую и недостижимую мечту.

Ухмылка матроса, почесывавшего свой подбородок и лукаво поглядывавшего на меня, была довольно комична. Казалось, он одно только и думал: «Ишь, отхватил лакомый кусочек, и когда успел?»

Всегда чувствительный к юмору, я залился смехом, услышал, что прыснул и матрос: смеялся с нами И., прочитывая на моем лице все промелькнувшие в моей голове мысли, что он так великолепно умел делать. Моя физиономия в сочетании с комичной фигурой матроса рассмешила бы и самого сурового человека. У И. был вид лукавого заговорщика, и поблескивал он глазами не хуже желтоглазого капитана.

Я положил записку в карман и заявил, что умру с голоду, если меня не накормят тотчас же. И крайне был поражен, узнав, что уже два часа пополудни.

Мы сели за стол. Я ел все, что мне подставляли, а И., смеясь, уверял, что впервые в жизни кормит тигра.

К нам подошел капитан. Радостно поздоровавшись, он заявил, что никогда еще не видел человека, который хохотал бы во всю мочь в момент, когда со всех сторон подступает смерть.

– Я создам новую морскую легенду, – сказал он. – Есть легенда о Летучем голландце; легенда страшная о вестнике гибели для моряков. Есть легенда благая: о Белых братьях, несущих спасение гибнущим судам. Но легенды о веселом русском, смеющемся во весь рот в минуты грозной опасности и энергично раздающем пилюли, еще никто не придумал. Я расскажу в рапорте о помощи, которую вы с братом оказали нам в эту ночь. О вас, мой молодой герой, я поведаю особо, потому что такое дерзновенное бесстрашие – незаурядное явление.

Я сидел весь красный и вконец расстроенный. Я хотел сказать капитану, как сильно он ошибается, ведь я просто шел на помочах у И., которому был скорее обузой, чем помощью. Но И., незаметно сжав мне руку, ответил капитану, что мы очень благодарны за столь высокую оценку наших ночных подвигов. И напомнил, что турки не менее нашего трудились в прошлую ночь.

– О да, – ответил капитан. – О них, конечно же, я не забуду. Они тоже проявили самоотверженность. Но находиться внутри парохода или провести ночь на палубе, где тебя ежеминутно может смыть волна, – огромная разница. Вы далеко пойдете, юноша, – снова обратился он ко мне. – Я могу составить вам протекцию в Англии, если вы вдруг решите переменить карьеру и сделаться моряком. С таким даром храбрости вы станете очень скоро капитаном. Ведь вам теперь всюду будет сопутствовать слава неустрашимого. А это – залог большой морской карьеры.

Поблескивая своими желтыми кошачьими глазами, он протянул мне бокал шампанского. Я не мог не принять бокал, рискуя показаться неучтивым. Затем капитан подал бокал И. и провозгласил тост за здоровье храбрых. Мы чокнулись; он осушил бокал с шампанским единым духом, хотел было налить еще, но его отозвали по какому-то экстренному делу.

Взглянув на И., я увидел, что у него тоже нет желания пить шампанское в такую жару. Не сговариваясь, мы протянули наши бокалы матросу-верзиле, принесшему мороженое. Я не успел даже как следует взять свое блюдечко, как оба бокала были пусты. И. велел ему отнести серебряное ведерко с шампанским в каюту капитана, а мне сказал:

– Надо пойти к нашим друзьям, если они сами сейчас не поднимутся. Оба несколько раз заходили сюда справляться о твоём здоровье. Да и по отношению к даме постарайся быть вежливым. Прочти же записку, – прибавил он, улыбаясь.

Я только успел опустить руку в карман, как послышались голоса, – и к нашему столу подошли турки.

Оба они радовались, что буря не повредила моему здоровью. Старший приподнял феску на голове сына, и я увидел, что большой кусок его головы выбрит и наложена повязка, заклеенная белой марлей: он ударился головой о балку, когда волна подбросила пароход. Повязку, как оказалось, накладывал И.; и мазь была такой целебной, что сегодня при перевязке рану можно было уже заклеить.

Турки пробыли с нами недолго и пошли завтракать вниз, в общую столовую.

Наконец, я достал письмо и разорвал конверт.

Глава XIII

Незнакомка из каюты 1А

Письмо было адресовано «Господину младшему доктору». Оно носило такое же обращение и было написано по-французски.

«Мне очень совестно беспокоить вас, господин младший доктор. Но девочка моя меня крайне волнует; да и маленький что-то уж очень много плачет. Я вполне понимаю, что мое обращение к Вам не совсем деликатно. Но, Боже мой, Боже, – у меня нет во всем мире ни единого сердца, к которому бы я могла обратиться в эту минуту. Я еду к дяде, от которого уже полгода не имею известий. Я даже не уверена, жив ли он? Что ждет меня в чужом городе? Без знания языка, без умения что-либо делать, кроме дамских шляп. Я гоню от себя печальные мысли; хочу быть храброй; хочу мужаться ради детей, как мне велел господин старший доктор. О Вашей храбрости говорит сейчас весь пароход.

Заступитесь за меня. В каюте, рядом со мной, поместилась важная, старая русская княгиня. Она возмущается, что кто-то смел поместить в лучшую каюту меня, – «нищенку из четвертого класса», и требует, чтобы врач нас выкинул. Я не смею беспокоить господина старшего доктора или капитана. Но умоляю Вас, защитите нас. Упросите важную княгиню позволить нам ехать и дальше в нашей каюте. Мы ведь никуда не выходим; у нас все, даже ванная, отдельное, и мы ничем не тревожим покой важной княгини. С великой надеждой, что Ваше юное сердце будет тронутو моей мольбой, остаюсь навсегда благодарная Вам Жанна Моранье».

Я старался читать спокойно это наивное и трогательное письмо; но раза два мой голос дрогнул, а лицо бедняжки Жанны с бегущими по щекам слезами так и стояло передо мной.

Я посмотрел на И. и увидел знакомую суровую складку на лбу, которую замечал не раз, когда И. на что-либо решался.

– Этот дуралей, наш верзила, вероятно, протаскал письмо целый день, скрывая его от меня и сочтя любовным, – задумчиво сказал он. – Пойдем сейчас же; разыщем капитана, и ты переведешь ему это письмо. Захвати аптечки; обойдем заодно и весь пароход.

Мы повесили через плечо аптечки и отправились искать капитана. Мы нашли его в судовой канцелярии и рассказали, в чем дело. Я видел, как у него сверкнули глаза и передернулись губы. Но он сказал только:

– Еще десять минут – и я иду с вами.

Он указал на кожаный диванчик рядом с собой и продолжал слушать доклады подчиненных о том, что сделано «согласно его распоряжениям» – для починки судна и помощи пассажирам.

Ровно через десять минут – точно, ясно, не роняя ни одного лишнего слова, – он отпустил всех и вышел с нами в лазаретное отделение первого класса.

Мы поднялись по уже знакомой мне узкой винтовой лестнице и вышли прямо к дверям каюты 1А.

В коридоре столпился народ; слышались спокойный и твердый голос врача, кому-то возражавшего, и визгливый женский голос, говоривший на отвратительном английском языке:

– Ну, если вы не желаете ее отсюда убрать, то я это сделаю сама. Я не желаю, чтобы рядом со мной ехала какая-то нищая тварь. Вы обязаны делать все, чтобы не волновать пассажиров, заплативших за проезд такие огромные деньги.

– Я повторяю, что таково распоряжение капитана, а на пароходе он царь и бог, а не я. Кроме того, это не тварь, – и я очень удивлен вашей малокультурной манере выражаться, – а премилая и прехорошенькая женщина. И за проезд в этой каюте она уже все сполна уплатила; вы же – под предлогом продолжающегося расстройства нервов – не заплатили еще ничего, – снова раздался спокойный голос врача.

– Да как вы смеее со мной так разговаривать? Вы грубый человек. Я не стану ждать, пока вы соблаговолите убрать отсюда столь приглянувшуюся вам девку. Вы хотите удобно устроиться и иметь развлечение за казенный счет. Я сама выгоню ее, – визгливо кричала княгиня. Доктор вспыхнул:

– Это Бог знает что! Вы говорите не как аристократка, а...! Тут капитан выступил вперед и стал спиной к двери каюты 1А, к которой подошла старая грузная женщина, раскрашенная, как кукла, в золотистом завитом парике, в нарядном сером шелковом платье, увешанная золотыми цепочками с лорнетом, медальоном и часами. Толстые пальцы ее жирных рук были унизаны драгоценными кольцами.

Эта молодящаяся старуха была тем отвратительнее, что самостоятельно держаться на своих ногах не могла. С одной стороны ей помогал молодой еще человек в элегантном костюме, с очень печальной физиономией; с другой, кроме палки, на которую та опиралась, старуху поддерживала горничная в синем платье и элегантном белом переднике, с белой наколкой на голове.

Не зная капитана в лицо и увидев морского офицера с двумя молодыми людьми у дверей той каюты, куда она так хотела пройти, она еще пронзительнее взвизгнула и, грозно стуча палкой об пол, закричала:

– Я буду жаловаться капитану. Это что за дежурство перед дверью развратной твари? У меня молодой муж; здесь слишком много молодых девушек. Это разврат! Сейчас же уходите. Я сама распоряжусь убрать эту...

Она не договорила, ее перебил капитан. Он вежливо поднес руку к фуражке и сказал:

– Будьте любезны предъявить ваш билет на право проезда в каюте 2 лазарета, которую, как я вижу, вы занимаете. Я капитан.

Он свистнул особым способом, и вбежали два дюжих матроса.

– Очистить коридор от посторонних, – приказал капитан. Приказание, отданное металлическим голосом, было незамедлительно выполнено. Толпа любопытных мгновенно исчезла, остались только старуха со своими спутниками, врач, сестра милосердия и мы. Старуха нагло

смотрела на капитана маленькими злыми глазками, очевидно считая себя столь важной персоной, перед которой все должны падать ниц.

– Вы, должно быть, не знаете, кто я, – все так же визгливо и заносчиво сказала она.

– Я знаю, что вы путешествуете на вверенном мне пароходе и занимаете каюту первого класса номер 25. Когда вы сели на пароход, вы читали правила, которые гласят, что во время пути все пассажиры, наравне с командой, подчиняются капитану. Также были расклеены объявления о том, что на пароходе имеется лазарет за особую плату. Вы едете здесь. Предъявите ваш добавочный билет, – ответил ей капитан.

Старуха гордо вскинула голову, заявив, что не о билете должна идти речь, а об особе в соседней с нею каюте.

– В лучшей каюте, со всеми отдельными удобствами, доктор разместил свою приятельницу, откопав ее в трюме. Я, светлейшая княгиня, требую немедленного удаления ее в первоначальное помещение, как раз ей соответствующее, – повышенным тоном говорила старуха на своем отвратительном английском.

– Понимаете ли вы, о чем я вас спрашиваю, сударыня? Я у вас спрашиваю билет на право проезда здесь, в этой каюте. Если вы его не предъявите сейчас же, будете незамедлительно водворены в свою каюту и, кроме того, заплатите тройной штраф за безбилетный проезд в лазарете.

Голос капитана, а особенно угроза штрафа, очевидно, затронули самую чувствительную струну жадной старухи. Она вся побагровела, затрясла головой, что-то хотела сказать, но задохнулась от злости и только хрипло кашляла.

– Кроме того, нарушение правил и распоряжений капитана, оспаривание его приказаний расцениваются как бунт на корабле. Еще одно запальчивое слово, еще один стук палкой, нарушающий покой больных, вы себе позволите, – и я велю этим молодцам посадить вас в карцер.

Теперь и сама старуха струсила, не говоря о ее молодом муже, который, очевидно, был убит, оказавшись в центре разыгравшегося скандала, и не мог не понимать, что поведение его жены позорно.

Капитан приказал открыть дверь каюты номер 2, где обосновалась княгиня.

Картина, представившаяся нашим глазам, заставила меня пократиться с хохоту.

На самом видном месте валялись широченные дамские панталоны, постели были разрыты, будто на них катались и кувыркались. Всюду, на столах, стульях, на полу, были раскиданы принадлежности мужского и дамского туалета, вплоть до самых интимных.

– Что это за цыганский табор? – вскричал капитан. – Сестра, как могли вы допустить нечто подобное на пароходе, притом в лазарете?

Сестра, пожилая англичанка, полная сознания собственного достоинства, отвечала, что входила в каюту три раза, дважды посылала сюда убирать коридорную прислугу, но что через час все снова принимало вид погрома.

На новый свисток капитана явился младший офицер, получивший приказание водворить княгиню в ее каюту, взыскать с нее тройной штраф за две лазаретные койки, а также немедленно помыть каюту.

– Я буду жаловаться вашему начальству, – прохрипела старуха.

– А я пожалуюсь еще и русским властям. И расскажу великому князю Владимиру, который сядет к нам в следующем порту, о вашем поведении.

Тут к старухе подошел младший офицер и предложил ей следовать за ним в первый класс. В бессилье она сорвала злобу на своем супруге и горничной, обозвав их ослами и идиотами, не умеющими поддержать ее, когда следует.

Похожая на чудовище из дантова ада, с трясущейся головой, хрипло кашляя, старуха скрылась в коридоре, сопровождаемая своими спутниками.

Капитан простился с нами, попросив от его имени уверить госпожу Жанну Моранье, что на его судне она в полной безопасности, под охраной английских законов. Он просил нас также еще раз обойти пассажиров четвертого и третьего классов, потому что вечером, после обеда, их снова разместят на прежних местах, помыв как следует весь пароход.

Мы постучали в каюту 1А. Мелодичный женский голос ответил нам по-французски: «Войдите», и мне показалось, что в голосе этом слышатся слезы.

Когда мы вошли в каюту, то первое, в чем мне пришлось убедиться, были действительно слезы, лившиеся по щекам Жанны; дети прижимались к ней, обхватив ее шею ручонками.

Они сидели, забившись в угол дивана, и владел ими такой страх, такое отчаяние, что я остановился, как вкопанный, превратившись сразу в «Левушку-лови ворон».

И. подтолкнул меня и шепнул, чтобы я взял девочку на руки и успокоил мать.

Убедившись, что мы являемся посланцами привета и радости, Жанна не раз переспрашивала, неужели и до самого Константинополя она доедет с детьми в этой каюте? Счастью ее не было предела. Она так смотрела на И., как смотрят на иконы, когда молятся. Ко мне она обращалась, как к брату, который может защитить здесь, на земле.

Девочка повисла на мне и не слушала никаких резонов матери, уговаривавшей ее сойти с моих колен. Она целовала меня, гладила волосы, жалея, что они такие короткие, говорила, что я ей снился во сне и что она больше не расстанется со мною, что я ее чудный родной дядя, что она так и знала, что добрая фея обязательно меня им пошлет. Вскоре и крепыш переключался ко мне; и началась возня, в которой я не без удовольствия участвовал, подзадоривая малюток ко всяким фокусам.

Мать, вначале старавшаяся унять детей, теперь весело смеялась и, по-видимому, не прочь была бы принять участие в нашей возне. Но присутствие иконы – И. настраивало ее на более серьезный лад.

И. расспросил, что ели дети и она. Оказалось, что после утреннего завтрака поесть им не удалось, так как соседка бушевала уже давно, они умирали от страха, и мы застали самый финал этой трагикомедии. Если она хочет, сказал И., чтобы здоровье ее самой и детей восстановилось до Константинополя, им всем следует поесть и хорошенько выспаться. И. полагал, что у девочки хоть и в легкой степени, но все же перемежающаяся лихорадка, что сегодня она здорова, но завтра должен снова наступить пароксизм. У матери расширились от ужаса глаза. И. успокоил ее, сказав, что даст ей капель и что им всем надо проводить почти весь день на палубе, лежа в креслах, тогда они оправятся от истощения.

Он попросил Жанну сейчас же распорядиться о еде и добавил, что мы обойдем пароход и вернемся через часа два. Тогда они все получают лекарство, и мы побеседуем.

Мы вышли, попросив сестру получше накормить мать и детей. Очевидно, это была добрая женщина; дети потянулись к ней, и мы ушли успокоенные.

Не успели мы пройти и нескольких шагов, как нас встретил врач, прося зайти в первый класс к той девушке, которую мы так хорошо вылечили.

– Дочь и мать, проспав всю бурю, сейчас свежи, как розы. Они жаждут видеть врача, чтобы поблагодарить его за помощь, – сказал судовой доктор.

Мы пошли за ним и увидели в каюте двух брюнеток, очень элегантно одетых; они сидели в креслах за чтением книг, ничем не напоминая те растрепанные фигуры, которые видели мы в страшную ночь бури.

Когда судовой врач представил нас, старшая протянула обе руки И., сердечно благодаря его за спасение. Она быстро сыпала словами, со свойственной итальянцам экспансивностью, и я половины не понимал из того, что она говорила.

Молодая девушка не была хороша собою, но ее огромные черные глаза были так кротки и добры, что стоили любой классической красоты. Она тоже протянула каждому из нас обе руки и просила позволить ей чем-либо отблагодарить нас.

И. ответил, что лично нам ничего не надо, но если они желают принять участие в добром деле, мы не откажемся от их помощи. Обе дамы выразили горячее желание сделать все, что необходимо; И. рассказал им о бедной француженке-вдове с двумя детьми, которую капитан спас от мук, укрыв с больными детьми в лазарете.

Обе женщины были глубоко тронуты судьбой бедной вдовы и потянулись за деньгами. Но И. сказал, что денег ей достанут, а вот одежды и белья у бедняжки нет.

– О, это дело самое простое, – сказала младшая. – Обе мы умеем хорошо шить; тряпок у нас много, мы оденем их преотлично. Вы только познакомьте нас со своею приятельницей, а остальное предоставьте нам.

И. предостерег их, что бедняжка запугана. Вкратце он рассказал им о возмутительной выходке старой княгини. До слез негодовали женщины, отвечая И., что не все же дамы думают и чувствуют, как мегеры.

Мы условились, что позже зайдем за ними и проводим к Жанне.

На прощанье И. велел достать черную коробочку Али, разделил пилюлю на восемь частей, развел в воде одну порцию и дал девушке выпить, посоветовав ей полежать до нашего возвращения.

Мы спустились в третий класс. Здесь было уже все прибрано, нигде и следов бури: но люди казались обессиленными вконец. Однако, приняв наших капель, стали вставать, потягиваться и выходить на палубу. Так мы постепенно добрались до первого класса, где разбушевавшаяся еще в лазарете княгиня так грубо срывала свое бессильное бешенство на мужа и горничной, что соседи по каюте возмутились. Слово за слово, разгорелся скандал, в самый разгар которого мы вошли. Увидев нас, старуха тотчас скрылась в свою каюту, под общий смех.

К нам подошел какой-то пожилой человек, очевидно очень тяжело перенесший бурю; весь желтый, с мешками под глазами, он просил навестить его дочь и внука, состояние которых внушало ему большие опасения.

Мы прошли с ним в каюту и увидели в постели бледную женщину с длинными русыми косами и мальчика лет восьми; казалось, он тяжело болен.

Пожилой человек обратился к дочери по-гречески; она открыла глаза, поглядела на И., склонившегося к ней, и сказала ему тоже по-гречески:

– Мне не пережить этого ужасного путешествия. Не обращайтесь на меня внимания. Спасите, если можете, сына и отца. Я не могу думать без ужаса, что будет с ними, если я умру, – и слезы полились из ее глаз.

И. велел мне капнуть в рюмку капль из темного пузырька и сказал:

– Вы будете завтра совершенно здоровы. У вас был сердечный припадок; но буря утихла, припадок прошел и больше не повторится. Выпейте эти капли, повернитесь на правый бок и засните. Завтра будете полны сил и начнете ухаживать за своими близкими. А сегодня мы сделаем это за вас.

Он приподнял ее античную голову и влил ей в рот капль. Затем помог ей повернуться, накрыл одеялом и подошел к мальчику.

Мальчик был так слаб, что с трудом открыл глаза; он, казалось, ничего не понимал. И. долго держал его тоненькую ручку в своей, прислушиваясь к дыханию, и наконец спросил:

– Он давно в таком состоянии?

– Да, – ответил старик. – Судовой врач уже несколько раз давал ему разные лекарства, но ему все хуже. С самого начала бури ребенок впал в состояние полуобморока, которое не проходит. Неужели он должен умереть?

И у старика задрожал голос, он отвернулся от нас, закрыв лицо руками.

– Нет, до смерти еще далеко. Но почему вы не закалили его? Он хил и слаб не потому, что болен, а потому что вы изнежили его. Если хотите, чтобы ваш внук жил, – держите его на све-

жем воздухе, научите верховой езде, гребле, гимнастике, плаванию. Ведь вы губите ребенка, – сказал И.

– Да-да, вы правы, доктор. Но мы так несчастливы, мы сразу потеряли всех своих близких, и теперь трясемся друг над другом, – все с той же горечью отвечал старик.

– Если вы будете таким способом и дальше оберегать друг друга, – вы все умрете очень скоро. Вам надо начать новую жизнь. Если вы согласны следовать моему методу, – я отвечаю за жизнь мальчика и начну его лечить. Если выполнять моих предписаний не будете – я не стану и начинать, – продолжал И.

– Я отвечаю вам головой, что все будет выполнено в точности, – прервал его старик.

– Ну, тогда начнем.

И. сбросил с мальчика одеяло, стянул с его худеньких ног теплые чулки, снял фуфайку и потребовал другую сорочку. А мне велел растворить в половине стакана воды кусочек пилюли из зеленой коробочки Флорентийца и еще меньшую часть пилюли из черной коробочки Али. Когда лекарство смешалось, вода в стакане точно закипела и стала совершенно красной.

И. взял у меня стакан, капнул туда еще из каких-то особых трех пузырьков и стал давать мальчику лекарство крошечной ложечкой. Я думал, что мальчик ни за что не сможет проглотить ни капли. Но последний глоток он даже допил из стакана.

Я осторожно опустил ребенка на подушку. И. велел мне достать самый большой флакон, вымыл руки, и я последовал его примеру. Затем он велел мне вытянуть руку мальчика и держать ее ладонью вверх, а сам стал массировать ее с жидкостью из флакона от ладони до плеча, каждый раз крепко растирая ладонь.

Рука, прежде совершенно белая, стала розовой, а затем покраснела. То же самое он проделал с другой рукой, потом с ногами и растер наконец все тело.

Жидкостью из другого флакона он смазал мальчику виски, за ушами и темя.

Мальчик внезапно открыл глаза и сказал, что очень хочет есть. Немедленно, по совету И., дедушка позвонил и приказал принести горячего шоколада и белого хлеба.

Пока лакей ходил за шоколадом, И. дал каплю старику и посоветовал поесть самому. Сначала старик отказывался, говоря, что от качки есть не может; но когда мальчику принесли еду, сказал, что шоколад он, пожалуй, выпил бы.

И. посоветовал ему поесть манной каши и выпить кофе, потому что сейчас шоколад ему вреден.

Все это время И. не сводил глаз с мальчика, наблюдая за ним. Он спрашивал, не холодно ли ему; и мальчик отвечал, что у него все тело горит, что ему еще никогда не было так тепло. На вопрос, не болит ли у него что-нибудь, мальчик сказал, что у него в голове сидел винт и очень больно резал лоб и глаза; но что сейчас доктор, верно, винт вынул.

И. дал ему еще каких-то капель и попросил заснуть, мальчик охотно согласился и действительно через десять минут уже спал, ровно и спокойно дыша.

– Ну, теперь ваша очередь, – сказал И., подавая лекарство старику.

Тот беспрекословно повиновался; затем И. попросил его лечь и сказал, что через три часа мы еще раз наведаемся, а пока пусть все мирно спят.

Мы вышли из каюты, где так долго провозились, и миновали толпу нарядных дам и кавалеров, которые начинали обретать свой обычный высокомерно-элегантный вид, пытались остеречь и флиртовать.

Итальянки нетерпеливо ждали нас с пакетами белья и платьев, приготовленными для Жанны. И. поблагодарил обеих дам, но просил отложить знакомство до завтра, так как сегодня и мать и дети еще очень слабы.

Итальянки были разочарованы, пожалели бедняжек и сердечно простились с нами.

Не задерживаясь более нигде, мы прошли прямо к Жанне.

Если бы я не проспал целые сутки, наверное уже свалился бы с ног, до того утомительны были это непрерывное хождение вверх и вниз по пароходу и непрестанное соприкосновение с людьми, с их болезнями, порывами злобы, страха и отчаяния.

Дети еще спали, а Жанна сидела в углу дивана, тщательно одетая и причесанная, но лицо ее было таким скорбным и бледным, что у меня защекотало в горле.

– А я уже и ждать вас перестала, – сказала она, чуть улыбнувшись, но глаза ее были полны слез.

– Нам пришлось задержаться, – отвечал И. с такою лаской в голосе, какой я еще у него не слыхивал. – Но почему вы решили, что мы можем нарушить свое слово? Можно ли быть такой подозрительной и так мало верить людям?

– Если бы вы только знали, как я верила людям прежде. И как жестоко пришлось разочароваться в их чести и доброжелательстве. Я боюсь даже думать о чуде вашей помощи. И все жду, что это дивный сон, и эта каюта растает, как туман, а мне останется только роса моих слез, – сказала Жанна.

– Я сострадаю вам всем сердцем, – ответил И. – Но человек, когда в жизни на него обрушивается буря, – даже такая ужасная и неожиданная, как та буря на море, которую вы только что пережили, – должен быть энергичным и бороться, а не падать духом и тонуть в слезах. Подумайте, что было бы с людьми на этом судне, если бы капитан и его команда растерялись, пали духом и отдались во власть стихий? Ваше положение небезнадежно. Правда, вы потеряли сразу и мужа, и любовь, и благосостояние. Но вы не потеряли своих детей, а значит, и ближайшей цели жизни. Зачем возвращаться мыслями к прошлому? Дважды потерять прошлого нельзя. Зачем думать с ужасом о будущем, которого вы не знаете и которого еще нет. Потерять можно одно только настоящее, вот это летящее «сейчас». А это зависит только от энергии, от жизнерадостности человека. Вдумайтесь, оглянувшись назад, сколько лишней муки вы создали себе сами страхом перед жизнью. Чему помог ваш страх? Приведите в такой же порядок свой внутренний мир, в какой привели вы свою внешность. Выбросьте из головы мысли о нищете и своей беспомощности. Не плачьте так ужасно. Помните, что вы оплакиваете себя, только себя, свою потерю, свое потерянное счастье. Вы думаете, что оплакиваете гибель мужа, его безвременную кончину. Но что мы можем понимать в совершающихся перед нами судьбах? Представьте, что и ваша жизнь может окончиться так же внезапно. Живите так, как будто каждую минуту вы отдаёте свой последний долг детям и всем тем людям, с которыми вас сталкивает жизнь. Не поддавайтесь унынию; держите себя в руках: забудьте о себе и думайте о детях. Скрывайте ваши слезы и страх от детей; учите их – на собственном примере – быть добрыми и весело принимать каждый наступающий день. Не бойтесь сейчас ничего, не теряйте мужества, надейтесь только на себя. Завтра мы познакомим вас с двумя очень добрыми и культурными дамами, они с радостью помогут вам по части туалетов. Что же касается дальнейшего, то прямо здесь, на этом пароходе, едут два наших друга, имеющих большое предприятие в Константинополе. Они помогут вам найти работу. Быть может, вы сможете открыть шляпную мастерскую или что-либо еще, что обеспечит вашу жизнь. Но я еще раз очень вас прошу, перестаньте плакать. Самое важное для вас дело сейчас – это здоровье ваших детей. Я думаю, что дочь ваша подхватила скверную форму лихорадки, и вам придется немало повозиться с ней.

Я не сводил глаз с Жанны, совершенно так же, как она во все глаза глядела на И.

Сначала на ее лице отразилось беспредельное удивление. Потом мелькнули негодование, протест. Их сменили такие скорбь и отчаяние, что мне хотелось вмешаться и объяснить ей то, что она, очевидно, неправильно воспринимала. Но постепенно лицо ее светлело, рыдания утихали, и в глазах мелькнуло уже знакомое мне выражение благоговения, с которым она впервые смотрела на И. – как на икону.

И. говорил с ней по-французски, говорил правильно, но с каким-то акцентом, чего я не отмечал, когда он разговаривал на других языках. И я подумал, что он выучил этот язык уже взрослым.

– Я не умею выразить вам своей благодарности, и даже не все, вероятно, понимаю из того, что вы мне говорили, – сказала Жанна своим тихим музыкальным голосом – но я чувствую в себе какую-то необъяснимую уверенность. Я не белоручка. Я вышла замуж за простого рабочего вопреки воле родителей – зажиточных фермеров. Я была у них единственной дочерью; они меня любили, по-своему, любили и баловали, но требовали, чтобы я вышла замуж за соседа, человека богатого, пожилого, скупого и очень мне противного. Но я увидела случайно на вечеринке у одной подруги моего будущего мужа, Мишеля Моранье. И сразу поняла, что ничто не устроит меня, и за богатого старика я не пойду. Нам с Мишелем пришлось бежать из родных мест. Тут как раз подвернулся случай уехать в Россию; и мы попали на французскую фабрику резиновых изделий в Петербурге. Мы жили очень хорошо. Я работала в шляпном магазине, и дамы нарасхват покупали мои шляпы, мы были так счастливы, и вот... – и бедняжка снова зарыдала.

Собравшись с силами, она еле слышно закончила свой рассказ:

– Машина, у которой работал муж, была неисправна. Но управляющий все тянул с ремонтом, пока не случилось непоправимое несчастье.

– Не бередите снова свои раны. Утрите слезы. Дети просыпаются, надо побереечь их нервы, да и ваши силы тоже подорваны, – все так же ласково сказал ей И. – Поставьте себе ближайшую задачу: восстановить силы детей.

Надо дать девочке капли, чтобы ослабить новый припадок. А завтра детей следует вывести на воздух. Но мы поможем вам.

Жанна слушала И., как слушают пророка. Ее щеки пылали, глаза горели, и во всей ее слабой фигурке появилось столько силы и решимости, что я просто поразился.

Мы простились и вышли, провожаемые визгом проснувшихся детей, не желавших нас отпускать.

Как только закрылась за нами дверь каюты, я почувствовал полное изнеможение. Я так глубоко пережил бесхитростный рассказ Жанны, столько раз глотал подступавшие к горлу слезы, что за этот последний час потерял свои последние силы.

И. ласково взял меня под руку и сказал, что очень сочувствует столь трудному началу моей новой жизни.

Я едва добрался до каюты. Мы переоделись и сели за уже накрытый стол, где нас поджидал мой нянька-верзила.

Впервые мне не хотелось есть и говорить. Море уже достаточно успокоилось, но пароход все еще сильно качало. И. подал мне какую-то конфету, которая меня приободрила, но говорить по-прежнему не хотелось. Предложение И. сойти через час к туркам я решительно отверг, сказав, что я сыт людьми и нуждаюсь в некоторой доле уединения и молчания.

– Бедный мой Левушка, – ласково произнес И. – Очень трудно почти ребенком войти в бурную мужскую жизнь, которая требует предельного напряжения сил. Но ты уже немало судеб наблюдал за эти дни, немало слышал. Ты видишь теперь, как внезапны бывают удары судьбы, и человек должен быть внутренне свободным, чтобы суметь мгновенно включиться в новую жизнь; не ждать чего-то от будущего, а действовать, жить в каждое текущее мгновение. Действовать, любя и побеждая, думая об общем благе, а не только о своих собственных достижениях.

И. сел в кресло рядом; мы немного помолчали, но вот послышались на лестнице шаги и голос капитана. Он теперь окончательно сдружился с нами, а меня так просто обожал, по-прежнему считая весельчаком и чудохрабрецом, как я ни старался разуверить его в этом.

Чтобы дать мне возможность побыть одному, И. поднялся навстречу капитану, и они вместе прошли к нему в каюту.

Я действительно нуждался в уединении. Моя душа, мои мысли и чувства были похожи на беспокойное море, и волны моего духа так же набегали одна на другую, сталкивались, кипели и пенились, не принося успокоения.

Из тысячи неожиданно свалившихся на мою голову событий я не мог бы выделить и одного, где логический ход вещей был бы ясен мне до конца. Во всем – казалось мне – присутствовала какая-то таинственность; а я терпеть не мог ни тайн, ни чудес. Слова Флорентийца: «нет чудес, есть только та или иная степень знания», часто вмешивались в сумбур моих мыслей, но я их не понимал.

Из всех чувств, из всех впечатлений в душе господствовали два: любовь к брату и любовь к Флорентийцу.

Я не любил еще ни одной женщины. Ничья женская рука не ласкала меня; я не знал ни матери, ни сестры. Но любовь-преданность полную, не критикующую, но обожающую, – я знал, потому что любил брата-отца так, что он всегда был рядом, и я поверял ему каждое движение своего сердца. Единственно, я скрыл от него свой писательский талант. Но опять-таки, руководило мною желание уберечь брата-отца от незадачливых писаний брата-сына.

Эта любовь к брату составляла стержень, остов моей жизни. На ней я строил свое настоящее и будущее, причем на первое я смотрел свысока, как на преддверие той великолепной жизни, которой мы заживем вместе, когда я окончу ученье.

И теперь мне пришлось убедиться в своем детском ослеплении, ведь я не задумывался прежде о том, кто такой мой брат и какой жизнью он живет. Я увидел вдруг кусочек его жизни, в которой меня не было. Это была катастрофа, почти такая же острая, какую переживала Жанна. И рыдая над ней – я рыдал над собою тоже...

Я ничего не понимал. Какую роль играла и играет Наль в жизненном спектакле моего брата? Какое место занимает брат в освободительном движении? Как связан он с Али и Флорентийцем? Поистине, здесь все казалось чудом, я осознавал свою невежественность и понимал, что не подготовлен к той жизни, в которую мне пришлось вступить.

Я думал, что любить так сердце может лишь один раз в жизни и только одного. И не заметил, как сердце мое расширилось и приняло еще одного человека; словно светлым кольцом он опоясал его, оставив в середине образ брата Николая.

Я не раздвоился в своей любви к Флорентийцу и брату. Они жили во мне оба, и оба образа часто сливались в один мучительный стон тоски и жажду свиданья...

Я еще не испытывал такой силы обаяния. Странное, новое понимание слова «пленил» явилось в моем сознании. Поистине, плен моего сердца и мыслей нес какое-то очарование, радость, которую разливал вокруг себя Флорентиец. Вся атмосфера вокруг него дышала не только силой и уверенностью; попадая в нее, я радовался счастью жить еще день, еще одну минуту подле.

Рядом с ним я не испытывал ни страха, ни сомнений, меня не терзали мысли о завтрашнем дне, – только творческое движение всему окружающему задавал этот человек.

Со свойственной мне рассеянностью я забыл обо всем и вся, забыл время, место, ушло ощущение пространства, – я летел мыслью к моему дивному другу, я так был полон им, что снова, – как ночью, в бурю, – мне показалось, что я вижу его.

Точно круглое окно открылось среди темнеющих облаков, и я увидел мираж, мою мечту, моего Флорентийца в белой одежде, с золотистыми, вьющимися волосами.

Я вскочил, добежал до края палубы и точно услышал голос: «Я с тобой, мой мальчик; будь так же верен, и ты достигнешь цели, и мы встретимся снова».

Бурная радость охватила меня. Какая-то сила влилась во все мои члены, и они стали точно железными. Я почувствовал себя счастливым и необычайно спокойным.

– Ну, как же чувствует себя мой юный друг, смельчак-весельчак? – услышал я голос капитана. – Никак, чудесные облака сегодняшнего вечера увлекли вас в небо?

Я не сразу отдал себе отчет в том, что происходит, не сразу откликнулся, но когда повернулся к ним, то, очевидно, преображенным своим лицом поразил не только капитана, но даже И., так изумленно они оба на меня поглядели.

Точно желая оградить от капитана, И. обнял меня и крепко прижал к себе.

– Ну и сюрпризы способны преподносить эти русские! Что с вами? Да вы просто красавец! Вы сверкаете, как драгоценный камень, – говорил, улыбаясь, капитан. – Так вот вы каким бываете! Теперь я не удивляюсь тому, что не только красавица из лазарета, но и молодая итальянка, и русская гречанка – все спрашивают о вас. Я теперь понимаю, какие еще силы таятся в вас.

Я с сожалением поглядел на темные облака, в которых исчез мираж моей любви, и тихо сказал капитану:

– Вы очень ошибаетесь, я далеко не герой и не донжуан, а самый обычный «Левушка-лови ворон». Я и сейчас ловил свою мечту, да не поймал.

– Ну, – развел руками капитан, – если за три дня, учитывая еще бурю, смутить три женских сердца – это мало, то остается только швырнуть на весы ваших побед мое, уже дырявое сердце старого морского волка. Вы забрали меня в плен, юный друг: пойдемте выпьем на брудершафт.

Не было никакой возможности отказаться от радушного приглашения. Но, казалось, никогда еще обязательства вежливости не были мне так трудны.

– Думай о Флорентийце, – шепнул мне И. – Ему тоже не всегда легко, но он неизменно обаятелен, постарайся передать сейчас его обаяние окружающим.

Эти слова дали выход бурлившей во мне радости. Спустя несколько времени и капитан, и поднявшиеся к нам турки покатывались со смеху от моих удачных каламбуров и острот.

Вечер быстро перешел в ночь, а рано утром мы должны были войти в порт Б., пополнить запасы воды, угля и провианта, а также выгрузить животных.

Отговорившись усталостью, мы с И. распрощались с обществом и ушли в свою каюту.

Мы еще долго не спали; я делился с И. своими мыслями, тоской по брату, своей преданностью Флорентийцу, рассказал о мираже среди облаков и слуховой иллюзии, порожденной жаждой общения с Флорентийцем. И. же советовал не думать о миражах и иллюзиях, а вникать в самый смысл долетевших до меня слов. Не все ли равно, каким образом получена весть. Важно, чем была для тебя эта весть и какие силы она в тебе пробудила.

– Запомни ощущения уверенности и радости, которые родились в тебе сегодня, то спокойствие, которое ты ощутил в глубине сердца, когда тебе показалось, что ты видишь и слышишь Флорентийца. И если примешься за какое-то большое дело, имея в себе эти чувства, – не сомневайся в успехе.

Верность идее, как и верность любви, всегда приведут к победе.

Я крепко обнял и поцеловал И., от всего сердца поблагодарив его за все заботы, и лег спать, благословляя жизнь за свет и красоту и будучи в полном мире с самим собой и со всей вселенной.

Глава XIV

Стоянка в Б. и неожиданные впечатления

Во сне я видел Флорентийца, и так реально было ощущение разговора и свиданья с ним, что я даже улыбнулся своей способности жить воображением.

Утреннее солнце сияло, качка почти совсем прекратилась, и меня поразила близость берега. Рядом возник верзила и сообщил, что мы скоро войдем в бухту Б., указывая на живописно раскинувшийся вдали красивый городок.

Снизу поднялся И., радостно поздоровался и предложил скорее отпить кофе, чтобы пройти к Жанне и приготовить ее к встрече с итальянками.

Мы принялись за завтрак; тут подошел капитан и, смеясь, подал мне душистую записочку.

– Рассказывай теперь другим, дружище, что ты скромный мальчик. Велела передать дочка, да старалась, чтобы маменька не увидела, – похлопывая меня по плечу, сказал капитан.

Я смеялся, как, вероятно, всему смеялся бы сегодня, потому что у меня смеялось все внутри. Я передал записку И., сказав, что я слишком голоден и не могу оторваться от бутерброда, а потому прошу ее прочесть вслух.

Капитан возмущился таким легкомыслием и стал уверять, что только теперь понимает, как я молод и по-мальчишески неопытен в любовных делах; что женские письма следует читать самому, так как женщины – существа загадочные и могут выкинуть самые неожиданные штучки.

Все же я настоял на том, чтобы прочел записочку И., и потребовал, чтобы и почтальон присутствовал при этом.

– Ну и занятный мальчишка, – сказал, расхохотавшись, капитан и присел к столу.

Записка, в чем я был уверен, и впрямь носила деловой характер. Молодая итальянка писала, что просит поскорее свести их к нашей приятельнице, поскольку в Б. много хороших магазинов и можно купить детям все необходимое.

Капитана несколько разочаровало содержание записки; но он продолжал уверять, что это только благовидный предлог, а развитие любовной истории будет завтра, послезавтра и т. д. – потому что в глазах у девушки он увидел мой портрет.

Так, шутя, мы вместе с ним спустились вниз и прошли прямо к Жанне.

Капитан, в виде дружеского назидания, покачал головой и погрозил мне пальцем.

Жанну мы застали в беспокойстве. Ее дети метались в жару. Она рассказала, что в семь часов они были совершенно здоровы и весело выпили свой шоколад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.